

# Борьба Мир

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Ленинград, проспект 25 Октября, д. 3.

## № 7

И Ю Л Ь

1932 г.

ВЫХОДИТ  
один раз в месяц

ИЗДАНИЕ

„КОМСОМОЛЬСКОЙ  
ПРАВДЫ“

## СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

	Стр.
<u>Л. Дар</u> Молодость мира	2
<u>С. Безбородов</u> Два из шести	8
<u>П. Радищев</u> Повесть о двух городах	15
<u>Г. Дедоз</u> Безработица	33
<u>Л. Руб</u> О чем поют дети	38
<u>В. Дмитриевский, С. Майзель</u> Эксплуатация нищеты	40
<u>А. Стенбок—Фермор</u> Встреча с друзьями	48
<u>Д. Лебедев</u> Ночь в королевской роще	50
<u>Л. Жлезнов</u> Алсминий в наших руках	55
<u>В. Тоболяков</u> У нас и у них	59

Обложку рисовал художник И. ЕЦ.



# МОЛОДОСТЬ МИРА

Л. Дар

Давно ли мы были экзотической страной малявинских баб, тульских самоваров, еврейских погромов, купавинских платков, церковного мракобесия, расписных пряников, славянского мордобоя, чеховской тоски и первобытного невежества?

И вот — иная экзотика. В огне войны и небывалой в мире революции рождается государство, потрясающее целый мир. Оно управляется со всеми внешними и внутренними врагами — с блокадой, интервенцией, гражданской войной, контрреволюцией, саботажем, спекуляцией, голодом, разлукой. И на костях невежественной, пьяной, экономически нисходящей, рабски зависимой от иностранного капитала России создается могучее рабочее государство с огромным развитием техники, с отличными экономическими показателями, с крепнувшей и неизменно растущей культурой. Весь мир удушается кризисом, разваливающим все хозяйство, всю жизнь, всю культуру пяти шестых, а одна шестая в это время воздвигает

индивидуальные гиганты, каким нет равных в мире, собственные базы металлургии и энергетики, осваивает неисчислимые природные богатства, организует миллионы мелких собственников в мощные коллективные хозяйства, вооружает их машинами, успешно завершая фундамент социализма.

Это государство на одной шестой земли так основательно потрясло мир, как этого не делали еще ни одна революция. Со дна жизни поднялись мощные людские пласты. Волею революции угнетаемые стали полководцами, законодателями, строителями великой страны.

Попржнему мы — экзотическая страна.

Путешествие в СССР — это интереснее, чем охота на тигров в джунглях или река вокруг света, предоставляемый фирмой Кук.

Эпоха „пальцев в супе и женщин, распределяемых коммунистами по карточкам“, уже давно прошла. Сейчас, приезжая в нашу страну, люди старого мира буквально ошупывают и обнюхивают невиданную для них государ-

стенную систему, всматриваются и изучают ее творцов и создателей.

Недавние наши гости и деятели английского тред-юниона, Сидней и Беатриса Вебб рассказывают о небывалом интересе европейского читателя к книгам о Советском Союзе: такая книга всегда найдет издателя. И какое разнообразие заголовков этих книг: „Эксперимент большевизма“, „Сто дней в Советской России“, „Москва“, „В гостях у Красной России“.

Какая гамма различных мыслей и чувств запечатлена на этих страницах! Здесь злоба, смешанная с изумлением, злоба в своем чистом виде, изумление, очищенное от злобы, переходящее нередко в признание и даже восхищение. У одних — скольжение по поверхности, шоры мешанской ограниченности на глазах, у других — желание осмыслить и докопаться до истины. „Осведомленная газета мира“, как она сама себя называет, „Таймс“ до сих пор печатает корреспонденции о крахе пятилетки, о провале планового хозяйства. И в этом же городе, только в другой буржуазной газете, ученик Макдональда и Сноудена, Витерток, побывавший в СССР, пишет так: „Сейчас мы можем позволить себе роскошь с высоты нашей социальной теории насмехаться над практическими достижениями Советов. Но не трудно предвидеть то время, когда мы будем сидеть у их ног и на их опыте учиться строить социалистическую жизнь“.

Люди старого мира много не понимают и многому удивляются. Они не понимают „бескорыстия“ советских органов власти, они не понимают идеи рабочего выдвижения, они изумляются, зачем это, прежде чем строить завод, строят хорошие дома для рабочих; их поражают тысячи людей, работающих не покладая рук „без импульса наживы“, художественно-политические советы в театрах, институт рабкоров, красные уголки в жактах, подлинный демократизм в Красной армии, сочетающийся с железной дисциплиной.

В числе обширного круга вопросов, занимающих их, одно из крупнейших мест занимает вопрос о советской молодежи. Белый идеолог господин Бердяев уже давно произнес советской молодежи приговор в цикле своих лекций „Пещерная мораль Советов“. Господин Бердяев с его лопатыми экскурсиями никто всерьез не принимает. Господин Бердяев ослепляет злоба. Гораздо более серьезные попытки осмыслить проблему советской молодежи имеются у профессора Скотта-Ниринга („Эдукацион ин Совет-Руссия“).

„Какие-то обстоятельства, — пишет Скотт-Ниринг, — высоко подняли в России молодежь и надежду на будущее“.

Профессор совершенно правильно связывает неуясненные им обстоятельства, поднявшие советскую молодежь, с надеждами на будущее. Именно в этом смысле интересуются проблемой кадров молодежи в Советской России и все прочие. В своей статье „На внутрисоюзные темы“, посвященной VII Всесоюзной конференции комсомола, тов. А. Троицкий приводит интересную выдержку из органа швейцарских торгово-промышленных кругов „Нейе цюрихер цейтунг“:

„Среди проблем, поставленных большевизмом, одной из важнейших как для него самого,

так и для его будущих отношений с остальным миром является вопрос о том, насколько русская молодежь привлечена на сторону коммунизма“.

Тов. Троицкий справедливо указывает, что именно лежит в основе этого пристального внимания к проблемам советской молодежи. Отчаявшись в том, что переродится и обуржуазится старая гвардия большевизма, закаленная в боях, враг свои перерожденческие надежды связывает все больше с работой по отвоеванию молодежи, по разжиганию мелкобуржуазных, неоменьшевистских, оппортунистических, шовинистских и всяких иных классово-враждебных тенденций. Враг, делая все, чтобы остановить процесс материальной перестройки страны, видит, что по этой линии его сопротивление год от году терпит все большее фиаско. И поэтому он особенное внимание обращает на то, чтобы оторвать переделку людей, „духовную метаморфозу“ от железной поступи переделки техники и экономики в нашей стране.

„Итак в какой мере русская молодежь привлечена на сторону коммунизма?“ — спрашивает автор из „Новой цюрихской газеты“. Философствуя, он забывает об одном, самом важном: о фактах.

Всего лишь двенадцать-тринадцать лет назад доступы к Красному Петрограду были захвачены Юденичем. С востока шли корпуса чехо-словаков и белогвардейцы-учредилорцы, а части Красной армии, голодные и разутые, без патронов, медленно с боями отходили на Волгу. В Балтике разрозненные колонны различных судов ломали льды зливая в отчаянной попытке прорваться к своей единственной, последней базе — Кронштадту. Черное знамя мятежа взметнулось над Кронштадтом, и по льду, ночью, укутанные в белые халаты, шли бригады красных курсантов сокрушать кронштадтскую волынку.

Коммунистической молодежи было тогда несколько тысяч. Мобилизация на фронт вобрала в себя весь наличный состав комсомола 18—19—20 годов. Суровое, героическое, неповторимое время выковаало из них замечательных бойцов. Беззаветная преданность делу рабочего класса и его партии, абсолютная готовность пожертвовать всем для блага пролетарской революции, огромная воля и жизнестойкость, не покидавшие в самые тяжелые минуты, — вот портрет любого из этих немногих тысяч.

На фронт шли как один — двенадцатилетние мальчики и двадцатидвухлетние „старички“, юноши и девушки. Они были разведчиками, санитарями, пулеметчиками, командирами, рядовыми. „Они умиралки прекрасны“, — можно смело сказать о них словами, высеченными на могильных плитах Поля жертв революции. Вот герой-комсомолец, взорвавший себя вместе с мостом. Вот другой, кричащий под дулом враждебных наганов: „Не видать вам Красного Питера!“... А сколько утерялось и стерлось имен, отдавших свою молодую жизнь молодой революции!

Между „вчера“ и „сегодня“ ленинградского комсомола протянулся крепкий и надежный мост.

Огромная карта освещена огнями рамп. Только сейчас старый боевой командир-краснознаменец тов. Урицкий рассказывал о неудав-

шейся авантюре Юденича. За столом президиума — старики — во главе с Петром Смородиным. Они рассказали молодежи, пришедшей на вечер воспоминаний в Дом культуры имени первой пятилетки о незабываемых днях.

Это — вечер воспоминаний, где собираются воедино куски комсомольской истории. Ведь пятнадцать лет — это целая эпоха, это рождение, закалка, рост, жизнь, борьба ленинского комсомола.

И вот в Колонном зале заседает уже седьмая по счету Всесоюзная комсомольская конференция. И генеральный секретарь комсомола говорит:

„Сейчас нас пять миллионов. и за это время до 1931 года семьсот пятьдесят тысяч человек комсомол передал в партию. На постах хозяйственной, культурной, военной деятельности можно найти наших комсомольцев. Есть заводы, где специалистами чуть ли не сплошь старые комсомольцы, окончившие советские вузы. Позжайте на окраины, — там часто комсомольцы руководят стройками, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов рублей. Директора, начальники цехов, бригадиры, мастера — комсомольцы. Их вывел в жизнь, воспитал ленинский комсомол под руководством нашей партии“.

В Колонном зале встретились комсомольцы многих поколений — делегаты самой мощной в мире юношеской пролетарской организации, в рядах которой находится каждый пятый юноша или девушка Советского Союза, пяти миллионов молодежи.

Эти делегаты собрались в Колонном зале в то время, когда республика завершает четвертый год пятилетки. И с трибуны комсомольской конференции гремят цифры: мы видим, что два с небольшим миллиона молодых пролетариев, занятых в первом году пятилетки, утроились. Среди новых пополнений пролетариата за последние два года имеются шестьдесят пять процентов молодежи. Рабоче-крестьянская молодежь уверена в своем завтрашнем дне. Мы видим ее разносторонний культурный рост, общественно-политическую активность, вес и значение ее в социалистическом строительстве.

Этот фронт хоть бескровен, но труден,

В лязге стали и визге рывней.

Это — пафос уверенных буден,

Пафос цифр — промасленных дней.

Этот фронт вобрал в себя весь наличный состав комсомола, как когда-то фронт военный. Абсолютная готовность жертвовать всем для социалистического строительства, глубочайшая преданность делу рабочего класса и его партии — вот что характеризует любого из них. Они — энтузиасты, герои-ударники, организаторы социалистического производства — борются за чулун, за нефть, за сталь, за электроэнергию, они спорят на работе, не различая подчас дня и ночи, не оглядываясь на убегающие дни, жадно всматриваясь в очертания будущего.

Вот что отвечаем мы, когда нас спрашивают — „насколько русская молодежь привлечена на сторону коммунизма“.

Но пусть скажут нам, насколько привлечена молодежь Европы, Америки и колоний делу капитализма?

Во Франции молодежная организация „Звена“ создавалась под высоким протекторатом Пуанкаре в подражание Американскому легиону, представляющему, как известно, собрание самых квалифицированных насиливающих, бандитов и громил с многолетним мордобойным стажем. Следовательно не имеет смысла продолжать характеристику „Звена“.

В Румынии, Польше, Чехо-Словакии отряды „молодых людей“ организуют погромы, главным образом еврейские, чтобы отвлечь внимание масс от дел государственных, направить народный гнев по ложному пути, разжечь национальную рознь. В Италии они укрепляют фашистскую диктатуру черных рубашек, работают над тем, чтобы вернуть Италии „величие и славу Римской империи“. В Германии они помогают утверждению диктатуры фашизма. Подкупленные крупным капиталом, их вожди разжигают в них дух „национального возрождения“.

По всем странам м.ра раскинуты организации молодежи, поддерживаемые и субсидируемые капиталистами. Огромные средства, могучий аппарат школ, печати, военной муштры, внешней парадности, мобилизованы, чтобы фашизировать и милитаризовать молодежь. В этом крайне необходимом для капиталистов деле им помогают достойные сыны своих отцов — молодые социал-фашисты. Они, например, целиком придерживаются буржуазной установки: „Спорт — самое важное дело в жизни“. Крайне интересно, что исполком СИМа, заседавший, кстати сказать, на острове Фюнене во дворце, любезно предоставленном датским королем, разбирал главным образом вопросы организации международных спортивных празднеств. Нередко на повестке дня остается мало времени для обсуждения таких незначительных вопросов, как рост безработицы и эксплуатация рабочей молодежи, угроза войны, лихорадка вооружений, защита рабочих интересов.

„Спорт — самое важное дело в жизни...“ Еще бы! Общеизвестен, например, факт, что во время всеобщей забастовки 1926 года английские реформисты устраивали футбольный матч между бастующими и полициейскими. Ведь это — не классовая борьба, а „экономический спор между друзьями“. Нельзя однако сказать, что СИМ вовсе не ставит больших проблем. СИМ предупреждает, например, опасность войны. Он постановляет: „Борьба против милитаризма и войны является одной из главных задач международного социалистического движения молодежи. Исполком СИМа приветствует решение конгресса Амстердамского Интернационала по вопросу о разоружении“.

Весь мир знает тактику желтого Интернационала в деле подготовки войны против СССР под маской разоружения. СИМ — досвойный отпрыск взрослого социал-фашизма. Для конгресса СИМа уступает свой дворец датский король. Для Христианского союза молодых людей миллиардер Рокфеллер жертвует девятьсот тысяч долларов. Христианским молодым людям строят прекрасный дом с библиотеками, купальнями, спортивными залами.

Для комсомола строят крепкие тюрьмы, потуже скручивают нагайки, покрепче куют замки.



Коммунистическая молодежь борется против опасности войны

...Однажды польские комсомольцы на заводе узнали новость. Завод „Мани“ получил заказ на кандалы. Комсомольская ячейка завода выпустила листовку.

„Для кого делаются кандалы? — Для рабочих. Для революционеров. Организуйте стачку!“

Настал день, заказ был передан на производство. На воротах заводов был вывешен плакат:

„Мы не будем делать кандалы!“

Рабочие покинули завод. Фабриканту пришлось возвратить заказ правительства. Тщетно искали виновных. Их не нашли. Таков один из



ЭРНСТ ТЕЛЬМАН, ВОЖДЬ ГЕРМАНСКОЙ КОМПАРТИИ.



крошечных эпизодов разнообразной борьбы мирового комсомола, сливающего свою борьбу с борьбой всего рабочего класса. Вместе с рабочим классом, руководимым коммунистической партией, революционная коммунистическая молодежь строит баррикады, борется против опасности войны, разоблачает фашизм и пацифистскую болтовню, организуется для классовых битв с капиталом.

Последние годы были годами наиболее свирепых преследований и разгрома комсомольских организаций. Однако именно в странах

белого террора — Италии, Польше, Венгрии, Румынии — подпольно комсомол быстро оправился и устроил свои ряды. Авторитет и влияние Коминтерна молодежи неизменно возрастают. Можно с полной ответственностью говорить о кризисе СИМа. Целые организации молодежи, еще недавно бывшие социал-демократами, переходят под знамена КИМа. В Италии, Венгрии и Польше неизменно распадаются фашистские союзы молодежи и познается настоящая цена фашистской демагогии.



..Мировой комсомол сливает свою борьбу с борьбой всего рабочего класса..

# ДВА ШЕСТИ

Сергей Безбородов



Я живу в Ленинграде. В Ленинграде есть целые улицы, сплошь застроенные шестиэтажными домами. Я как-то шел по такой улице и подумал: какое это все-таки трудное и сложное дело — построить большой шестиэтажный дом! Вот например этот желтый угловой домике с круглой башней, с балконами, с куполом наверху. Сколько миллионов кирпичей надо было уложить и связать цементом, чтобы получились его стены! А ведь стены эти не сплошные, — в них очень много окон и дверей. Посмотришь — и становится страшно, как же держится эта высоченная отвесная стена, ведь в ней столько оконных дыр, заделанных только хрупким стеклом? Представишь себе этот дом, набитый людьми, тяжелыми книжными шкапами, роялями, гардеробами, сундуками. Какую страшную тяжесть пяти этажей должен держать на своих плечах первый этаж!

Стоит такой дом огромной пустой горой. Гора не разваливается, не оседает, не тре-

скается. А посмотришь в окно на толщину стен — какой-нибудь метр, не больше. Попробуйте выложить стенку толщиной в метр и высотой в шестиэтажный дом. Обрушится такая стена. А вот когда сразу возводится целый дом, когда каменщики кладут сразу все стены будущей постройки, тянут металлический каркас, заливая его бетоном, укрепляют железные таровые балки, закладывают их кирпичом и заливают кирпич цепким цементом, — получается такой дом. Дом стоит сотни лет.

Представим теперь такую картину. Строится большой новый дом. Лучший кирпич, цемент, бетон, новейшие строительные машины и приспособления имеются у строителей. Все материалы — лучшего качества, все материалы — отменной крепости. Инженер-строитель составил проект дома. Он вычертил будущий дом на бумаге, заранее высчитал и толщину стен, и размеры окон, и наклон всех лестниц, и толщину потолков. По чертежам инженера дом



начинают строить. Каждый шаг постройки сверяют с чертежами, чтобы дом получился именно таким, как его задумал этот инженер-архитектор. Если архитектор ошибся в своих вычислениях,—как бы ни были крепки кирпичи, как бы ни были упруги балки и вязок лучший цемент,—дом рухнет, погребая под своими развалинами строителей. Дом рухнет и в том случае, если ошибется не инженер, а техник, который с плана ставит постройку на улицу. Дом обвалится и тогда, если каменщик станет класть кирпичи не так, как это надо, не так, как это установлено наукой о строительстве домов.

Дом будет хорошим, крепким, теплым, если правильно его рассчитал инженер, если расчеты инженера верно перенес на постройку техник, если добросовестно и верно делали свое дело каменщик, бетонщик, арматурщик.

Дом строят люди. Только от них зависит, будет дом стоять непоколебимой горой или развалится, как карточный. А ведь так же решают люди и судьбу завода, порта, фабрики, электростанции.

Машины оживают и безропотно и хорошо служат человеку только тогда, когда человек умело управляет ими. Электрический ток мчится по проводам и приводит в движение танки и механизмы, когда человек поворачивает и включает рубильники на распределительном щите электростанции. Самолеты снижаются с земли и автомобили двигаются вперед только тогда, когда человек заставляет работать двигатели.

Мы строим в нашей стране социализм. Мы должны для этого в десять лет обогнать по технике самые передовые страны мира, например Америку. Мы уже настигаем ее. В 1931 году по строительству сельскохозяйственных машин мы вышли на второе в мире место. Мы уже обогнали Германию, Англию, Францию,—оставалась только Америка. По добыче нефти мы вытеснили со второго в мире места Венесуэлу. Заняли второе место по количеству действующих тракторов. Но мы должны быть на первых местах, а не на вторых. Для этого нам нужно очень много угля, машин, станков, металлов, электричества, двигателей и железных дорог.

Для этого нам нужно очень много инженеров, техников, мастеров, квалифицированных рабочих, которые строили бы новые заводы, командовали бы машинами и механизмами. Одной только Ленинградской области в 1932 году потребуется десять тысяч девятьсот новых инженеров и пятнадцать тысяч восемьсот новых техников.

В Америке на каждые десять тысяч рабочих приходится по ста двадцати пяти инженеров. В Германии—сто шесть инженеров. У нас на каждые десять тысяч рабочих—только восемьдесят инженеров. Знаете ли вы, что в каменноугольной промышленности у нас на каждую тысячу рабочих приходится только один специалист, а в Германии—в сорок раз больше?

В нашей стране выходят тысячи газет и журналов, мы печатаем книг больше, чем любая страна в мире. А у нас на всю полиграфическую промышленность всего Советского Союза требуется только двенадцать специалистов с высшим техническим образованием. Двенадцать че-

ловек на огромную промышленность огромной страны. Только четверть всех наших технических специалистов имеет законченное высшее образование. Остальные три четверти—это люди или совсем не получившие специального высшего образования, или мастера, десятилетиями практической работы накопившие технические знания, но не имеющие теоретической подготовки.

С такими командирами техники трудно выполнить нам вторую пятилетку. Ведь в 1932 году, последнем году первой пятилетки, вступил в строй десятки крупнейших заводов и фабрик, новых шахт, пароходов, железных дорог и электростанций.

Железные неумолимые руки машин мы поставим строить для нас социализм только тогда, когда эти машины окажутся в умелых человеческих руках. Значит нам нужны специалисты? Да, нам нужны технические специалисты. Но нам нужны не любые специалисты. Не всякие специалисты нужны нам для строительства социализма в нашей стране.

Нам нужны свои специалисты, свои инженеры и техники, такие специалисты, которые не за страх, а за совесть, не из-за денег, а по глубокому убеждению, по кровному интересу полагали бы нам в последнем и решительном бою с капитализмом.

Сколько раз старые, еще царские инженеры, экономисты, техники и финансисты предавали дело рабочих и крестьян! Вы помните, как часть старых специалистов хотела разрушить наш Донбас, подорвать и уничтожить каменноугольную промышленность Советского Союза? Помните шахтинский процесс вредителей? Вы помните, как некоторые царские инженеры пытались развалить наш транспорт? Помните процесс железнодорожных вредителей? Мы никогда не забудем, как заговорщики хотели задушить нас голодом, хотели уморить рабочих и крестьян, поднять восстание и передать власть помещикам и капиталистам.

Мы не забудем процесса „промпартии“. Группа профессоров, инженеров, конструкторов и „научных деятелей“ создала даже свою „промышленную партию“, которая хотела развалить всю нашу страну. Нам не нужны такие специалисты. С честными специалистами старой школы мы будем работать подрежнему, но мы теперь достаточно сильны для того, чтобы уже самим приготовить для себя нужных нам инженеров и ученых.

Какие же специалисты нам нужны?

И на этот вопрос ответил товарищ Сталин на московском совещании хозяйственников.

Он сказал:

„Нам нужны такие командные и инженерно-технические силы, которые способны повяты политику рабочего класса нашей страны, способны усвоить эту политику и готовы осуществлять ее на совесть“.

„Инициаторы соревнования,—продолжал товарищ Сталин,—вожаки ударных бригад, практические вдохновители трудового подъема, организаторы работ на тех или иных участках строительства—вот новая прослойка рабочего класса, которая и должна составить вместе с прошедшими высшую школу товарищами ядро интеллигенции рабочего класса, командного состава нашей промышленности“.

Этот день начался как обычно. Только инженеров Винблата и Боберщикова не оказалось на своих местах.

И на другой день не пришли инженеры. Не пришли они и на третий. А потом оказалось, что инженеров арестовало ГПУ. А еще потом выяснилось, что Винблат и Боберщиков были вредителями. Они были главарями целой группы людей, которая хотела сорвать выполнение промплана на заводе имени Сталина. Вредители старались повести дело так, чтобы завод выпустил как можно меньше турбин для строящихся электростанций.

Без турбины станция работать не может. Значит надо или останавливать строительство электрических станций или покупать турбины за границей. Вредителям этого только и надо было. В 1929 году они ухитрились так повести дело, что план строительства турбин завод смог выполнить только на четыре пятых части. Одну пятую часть намеченных турбин завод не сделал. Их купили за границей, заплатив миллионы рублей золотом. Изю всех сил старались вредители помешать заводу строить водяные турбины для гидростанций. Это тоже им было выгодно. Пусть расходует государство дорогой каменный уголь вместо ничего не стоящей воды. В проектах и чертежах та же разбойничья рука сознательно делала ошибки и просчеты. Строят турбину, как будто бы все в порядке, а стали испытывать, — турбина разлетается вдребезги. Опять страшные убытки, задержки строительства станций.

Наконец ГПУ накрыло и арестовало всю шайку.

Рабочие завода имени Сталина, когда узнали об этом, написали письмо Ленинградскому областному комитету большевиков. В письме они говорили, что надо создать такую школу, которая была бы сразу и заводом и школой. Надо сделать так, чтобы рабочий мог учась — работать и работая — учиться. Надо для опыта превратить в такую школу один из крупнейших ленинградских заводов. Надо взять строительство в свои руки. Довольно работать на вредителей. Надо готовить своих производственно-технических специалистов. Надо готовить таких специалистов, которые не продадут рабочего дела капиталистам Англии или Франции.

Правительство и партия это предложение рабочих решили провести в жизнь. Завод имени тов. Сталина был объявлен заводом-втузом. Сейчас завод-втуз имени тов. Сталина готовит собственную производственно-техническую интеллигенцию рабочего класса.

На улице Комсомола, в двухэтажном доме № 23 — учебный комбинат завода. Здесь-то и готовят сталинцы квалифицированных рабочих, техников и инженеров. Учебный комбинат имеет три ступени обучения. Первая ступень дает квалифицированных рабочих, вторая — техников, третья — инженеров. Первая ступень — это школы для чернорабочих. Преслужив на заводе год, умеешь читать и писать, знаешь четыре действия арифметики, — можешь идти учиться в первую ступень. Два года и четыре месяца длится обучение чернорабочих. Те, которые работают на заводе в утренней смене,

учатся по вечерам; работающие вечером учатся утром. Шесть дней из десяти надо ходить в школу. Четыре дня — для отдыха и подготовки разных учебных заданий. Через два года и четыре месяца из чернорабочего получается квалифицированный токарь.

В специальных учебных мастерских чернорабочих сначала знакомят со станками, обучают самым простым производственным процессам. Проходя месяцы, и работа становится все сложнее и сложнее. От опиловки металлических брусков учащиеся переходят к шпалровке. Потом учатся расточке, нарезают гайки и болты, начинают делать несложные расчеты деталей и проверяют их на станках. Это — в мастерских. В классах они занимаются обществоведением, русским языком, географией, математикой, черчением, естествознанием. С каждым месяцем вводятся все новые и новые предметы в классы, новые процессы в мастерских. Хороший токарь должен знать и техническую физику, и технологию металлов, и основы химии, и литейное дело, должен хорошо знать, как организовано все производство.

Шаг за шагом одолевают чернорабочие завод имени Сталина премудрости технической учебы. А отдел кадров завода следит за их обучением и уже заботится — куда, в какие цехи, на какую работу поставить будущих токарей, слесарей, монтажников. Прошло двадцать восемь месяцев, окончена первая ступень — и рабочий сразу получает ответственную работу на станке. Прощай метла, тачка и лопата! А если хочешь учиться дальше, — пожалуйста, иди во вторую ступень учебного комбината, в техникум.

Сюда принимают уже только квалифицированных рабочих, кончивших семилетку. Но могут поступать в техникум и те, которые пришли весь курс обучения в первой ступени завода-втуза. Учатся здесь так же и столько же времени, сколько и в первой ступени. Дни работают в цехе, вечером сидят в классе. Да что сегодня рассказывать преподаватель, замечает рабочий практически проверяет и прорабатывает в цехе. Каждый рабочий может выбрать себе специальность. Хочешь быть техником в строительстве паровых турбин — в техникум есть отделение паротурбин. Хочешь строить гидравлические двигатели или паровые котлы — есть и такие отделения.

Здесь уже нет никаких мастерских. Зачем в техникуме мастерские? Ведь все учащиеся в техникуме и так каждый день работают в цехах и мастерских завода, фактически прорабатывают там теорию, услышанную в классе.

Последняя ступень учебного комбината — это втуз. Он готовит инженеров из заводских техников и рабочих, прошедших обе ступени учебного комбината. Хочет рабочий стать инженером по монтажу турбин, сначала он работает в слесарно-сборочной. Потом его переводят в цех испытания. Оттуда рабочего передвигают на монтаж турбины, потом на демонтаж, снова на испытание. Он изучает, как сдают готовые турбины, и некоторое время даже работает где-нибудь на электростанции около своей сталинской турбины: смотрит, как должна работать хорошая, правильно сделанная машина. Тогда постепенно из чернорабочего, ничего кроме своего лома, лопаты или метлы не знающего

завод-втуз имени Сталина готовит производственно-техническую интеллигенцию рабочего класса.

Нигде во всем мире нет таких учебных заведений. Их и не может быть в капиталистическом государстве. Там не то, что учить рабочих, подготавливать из рабочих инженеров и техников, — там уже опытным инженерам сплошь и рядом бывает нечего делать. В прошлом году буржуазная немецкая газета „Франкфуртер цейтунг“ начала кампанию за то, чтобы выгнать женщин из учебных заведений.

„Женщине не нужна специальность. Женщина может выйти замуж. Ее все равно будет кормить ее муж. Надо дать дорогу мужчине. Работы мало. Инженеров и так слишком много, а тут еще бабы будут отбивать места. Долой женщин из учебных заведений! Пусть торчат на кухне!“

А во Франции газеты вели кампанию, чтобы молодежь не шла учиться в высшие учебные заведения, а лучше поступала бы в армию, ехала бы в колонии, занималась бы сельским хозяйством.

„Подумайте о том, где вы найдете работу, когда станете инженерами и докторами?“

В СССР заводы-втузы — не только в Ленинграде. И в Москве, и в Харькове, и в Днепродзержинске есть такие же учебные комбинаты. По всей нашей стране идет подготовка и обучение новых кадров командиров промышленности.

Американские инженеры ска-  
зали:

„Надо подождать весны. Пускать домну зимой нельзя. Таких случаев еще не было, чтобы доменные печи зажигались зимой. Мы не знаем таких случаев, а поэтому и советуем ждать весны“.

Начальник строительства Магнитогорского металлургического завода товарищ Гугель выслушал американских специалистов с большим вниманием. Американцам даже показало, что товарищ Гугель согласен с ними. Но Гугель встал, посмотрел на притихшее собрание руководителей Магнитостроя и сказал:

— Я все-таки думаю, товарищи, что первая Магнитогорская домна должна быть пущена немедленно. Мы не можем ждать весны. До весны не может ждать промфинплан. Никто нигде никогда не зажигал домен зимой? Но и нигде, кроме Советского Союза, и никогда еще не были у власти большевики. Мы пусти́м нашу домну немедленно. Большевики сделают то, чего никто еще в мире не делал. Первого февраля должен быть получен первый магнитогорский чугун.

На домне № 1 закипела работа.

29 января, за два дня до пуска домны, в южном водопроводе случилось несчастье: вода прорвалась сквозь стыки водопроводных труб. Вода стала размывать грунт, не пошла на домну, а стала разливаться большим озером. Был крепкий мороз. Вода дымилась. На воду бросились землекопы. По колена в воде, целые сутки на трескучем морозе, они дрались с водопроводом. Победенная и успокоенная вода залезла обратно в трубы и потекла на домну № 1.

30 января — опять заморозка. Плохо работает фильтр. Засорилась охладительная сеть. Снова стала вода. Каменщики кинулись к трубам. Механики и монтажники ударили по промерзшим холодоильникам горячим паром. Люди были похожи на сосульки. Вода замерзла на одежде толстым слоем льда.

Ранним утром 31 января воду вновь одолели. В измученных, падающих от усталости, обледенелых людях нельзя было разобрать, кто начальник доменного цеха, кто инженер, а кто простой рабочий.

В восемь часов пятьдесят пять минут утра воздухоудвная станция послала по толстым в несколько обхватов трубам первый воздух в кауперы, — в легкие домны. В кауперах —



„Мы должны создать ать свою интеллигенцию“.



### Домна зажглась.

Кто работал на домне № 1? Кто поставил этот мировой рекорд? Кто доказал американским специалистам, что мы можем по технике не только догнать, но и перегнать Америку? На домне № 1 работали рабочие ударники. Ими руководили инженеры-коммунисты. Только одни коммунисты руководили ударниками? Нет. На домне № 1 работали и старые инженеры, старые специалисты. Они работали рядом с коммунистами, работали не хуже их. Только потому, что весь коллектив строителей Магнитогорской домны № 1 работал настоящими большевистскими темпами, с настойчивостью и энтузиазмом ударников, только потому, что все — и коммунисты и беспартийные и рабочие, и инженеры — дрались за пуск домны, домна зажглась в девять часов пятнадцать минут утра 31 января 1932 года.

Пуск магнитогорской домны — крупнейшая победа нашей техники. Но разве меньшая победа — сто тридцать тракторов, которые каждый день сходят с большого конвейера Сталинградского тракторного завода?

А стандартная дуговая машина для электро-сварки, которую спроектировали специалисты ленинградского завода „Электрик“? Наша машина на тридцать процентов дешевле таких же заграничных.

А это разве не победы:

Завод имени Дзержинского в Одессе начал выпускать советские киноаппараты. Инженеры этого завода создали такой киноаппарат, который нисколько не уступает лучшим французским и американским аппаратам.

Пятую турбину на пятьдесят тысяч киловатт заканчивают рабочие и инженеры завода имени Сталина в Ленинграде.

### „Прежде рабочая сила шла самотеком в город“.

страшная жара, восемьсот двадцать градусов. Через двадцать минут, в девять часов пятнадцать минут газовщик Куприянов открыл клапан горячего дутья. С гулом и грохотом ринулся раскаленный воздух кауперов в домну № 1. Большое черное облако коксовой пыли поднялось над домной. На фурмах вспыхнул и зажегся огонь. Из свечей домны пошел легкий сизый дымок.



Биржа сезонников в Москве.

Не так давно руководители Грозненского завода, который добывает бензин из мазута, рапортовали:

„Основные промышленные показатели американского промышленного крекинга оставлены позади“. А крекинг — это и есть перегонка мазута в бензин. На каждом заводе, в каждой лаборатории советская наука и техника одерживают одну победу за другой.

Далеко не все старые инженеры — вредители. Среди старых специалистов очень много искренно и честно работающих рука об руку с коммунистической партией.

Магнитогорская домна, машины для электросварки завода „Электрик“, киноаппараты Одесского завода, грозненский бензин говорят за это. За это говорят сотни заводов, досрочно

Вот что писали рабочие Сталинградского тракторного завода в своем письме товарищу Сталину:

„Хотя большинство инженерно-технических работников — молодежь, но есть немалая прослойка инженерно-технических работников старой школы. Есть даже у нас группа работников, которые имели в прошлом тяжелейшие преступления перед советской властью. Мы помогаем им искупить свою вину перед рабочим классом, активной и энергичной работой доказать свой поворот в сторону советской власти. И мы имеем немало примеров, когда многие из них, захватываемые обстановкой трудового подъема рабочего коллектива и инженерно-технических работников, показывают образцы самоотверженного труда. Мы окружили заботой старые кадры инженеров, выделили их в оплате труда, по жилищным условиям, по снабжению. Мы воспитываем в своих командирах здоровый производственный риск и не допускаем шельмования за всякую производственную ошибку“.

Под этим письмом подпишутся рабочие любого ленинградского, или харьковского, или уральского завода. Потому что и в Ленинграде, и в Харькове, и в Златоусте такой же любовью и заботливостью окружены честные и преданные рабочему классу инженерно-технические специалисты старой школы. Потому что вся страна, все заводы, шахты, фабрики и рудники выполняют это пятое условие товарища Сталина.

„Уравниловка ведет к тому, что каталь получает столько же,

выполнивших свой пятилетний план. За это говорят мировые открытия советских лабораторий и научно-исследовательских институтов. Известная часть старых технических специалистов искренно и горячо помогает нам строить социализм, вместе с нами добивается крупнейших побед в выполнении пятилетнего плана.

„Нельзя по-старому влить в одну кучу всех специалистов и инженерно-технические силы старой школы. Чтобы учесть изменившуюся обстановку, надо изменить всю политику и проявить максимум заботы в отношении тех специалистов и инженерно-технических сил, которые определенно поворачивают в сторону рабочего класса“.

Так говорил хозяйственникам товарищ Сталин о пятом условии победы. И это условие мы проводим в жизнь. Мы окружаем заботой и вниманием старых технических специалистов. На каждом предприятии для таких специалистов делается все возможное, чтобы улучшить их положение с жилищем, питанием, заработной платой.



„...Сколько уберщица“.







# О двух городах

Леонид Радищев

Рисунки Льва Канторовича

фото Николая Штерцера

## I. Счастливая гавань

К счастливой вольной гавани моряк спешит,  
Она заменяет нам царство небесное.

(Старинная песня.)

Отсюда, от вольного города, произошло  
иное:

Отсюда начали свой рекордный ход гамбургские пароходы „Бремен“ и „Европа“, огнявшие у англичан голубую ленточку Атлантики.

Отсюда, из химических лабораторий Гамбурга, вышел на поля империалистической войны первый удушливый газ.

Здесь причудливо сочетается средневековое с последним словом двадцатого века. Два золотых льва, подъявших щит, — таков герб вольного города.

Здесь, рядом с пятисотлетними домиками старой Ганзы, Эльбтоннель, подлинное чудо техники, замечательное дерзание человеческой мысли, огромный комфортабельный светлый коридор под волнами могучей реки.

Гамбург знаменит своими верфями, подъемными кранами, гигантскими пароходами. Ни одного кусочка голой земли. Кирпич, сталь, стекло, бетон. На приколах благоустроенных гаваней — целое государство кораблей, грохочущая жизнь мирового порта. Этот порт вмещает в себя элеваторы, судостроительные верфи, склады, таможни, конторы, рынки, рельсовые пути, торговые предприятия. От этих ганских чудовищ, от прибывающих и уходящих пароходов, от передвижения барж, от звонких угольщиков и юрких ферриботов по волнам идут волны не меньшие, чем в открытом море. Сюда стекаются богатства всего мира. Их трудно измерить, взвесить, оценить. Зерно, хлеб, хлопок, нефть, уголь, кожа, маши-



ны, кофе, шерсть из Бразилии, Аргентины. Австралии, Британской Индии. Голландцы и американцы разгружают съестное, Африка — химическое сырье. Немецкая индустрия опускает в люки кораблей моторы, велосипеды, резервуары, части машин. Могучие краны порта как будто играют пятитонными грузами.

Торговые корабли отняты Антантой, но даже и теперь, в тысячи девятьсот двадцать восьмой году, Гамбург не отстал от старых соперников — Роттердама и Антверпена. Волны попрежнему бороздят Эльбу, и каждые пять минут опускаются многосильные лифты в Эльбтоннель, развозя тысячи рабочих.

„Блюм и Фосс“ — судостроительная верфь „Вулкан“ — строят новые, взамен отнятых кораблей. Семь тысяч рабочих на „Вулкане“ и пятнадцать у „Блюма и Фосса“. Сто миллионов марок капитала в руках хозяев верфей и судоходных предприятий. Вольным городом управляет собственный сенат, в старинном здании с гербом чинно заседает именитое купечество, „перечницы“ и социал-демократы, старый гимн звучит как медь, полиция исправно поддерживает порядок.

Целый штат гидов (изящные манеры, высшее образование, знание старинны) показывают иностранцам достопримечательности родного города. Знаменитая фирма Кук имеет в Гамбурге самое мощное свое отделение. Путешествие морем, сушей, воздухом. Комфортабельные гостиницы. Принимается валюта всех стран.

На Вильгельмштрассе, в знаменитых универмагах Карштадта, можно приобрести все, что родила человеческая фантазия от Хлоаса до наших дней. У Карла Гагенбека рычат сытые звери. — есть сотни новых экземпляров. Впервые разрешилась в неволе самка гориллы. Город Гамбург устраивает конкурс на



... Очень редко гремит в порту Гамбурга лебедка.

королеву Гамбурга, — вот портрет самой красивой женщины города Гамбурга.

Вот прекрасное, прозрачное озеро Альстер и виллы аристократов на берегу. Попрежнему грохочет джазом, граммофонами, радио, звенит рюмками, исходит песнями веселый Сан-Паули и светит цветными фонариками улица Риппербан.

Старый железный Бисмарк с лицом оканевшего окорока охраняет покой города, сенаг заботится о процветании и благоустройстве.

Еще не так давно публичные дома позорили репутацию мирового города. Вот здесь были ворота, освещенные красными фонарями. Они вели из улицы „Маленькой вольности“ в переулок Петерштрассе. В домиках, за решетками окон, сидели голые женщины и зазывали. Добрые христиане из Армии спасения дежурили у порога и вручали листовки: „Зачем ты идешь сюда? Ты можешь получить скверную болезнь и заразить свою семью. Не делай этого, будь честным христианином“.

Теперь остался просто веселый Сан-Паули, заменяющий царство небесное. Упруго покачиваясь, авто развозят путешественников. Гавани, виллы, живописная старина соборов и церквей проплывают мимо.

— Генрих Гейне, — рассказывает образованный гид, — в своих записках господина фон Шнабелевского называет Гамбург великолепным городом. Господин Гейне весьма сожалел о башне святого Петра, сгоревшей во время пожара. Башня так величественно возвышалась над мелкотой того, что окружало ее. Господину Гейне не удалось увидеть дальнейшего роста нашего города. Город Гамбург является в настоящее время наиболее благоустроенным городом. Гамбургский сенат весьма много способствует благоустройству и заботится об его жителях. Господа могут приобрести фотографию первого германского броненосца после войны, а также свинцовую медаль с изображением Адольфа Гитлера. Господин Гитлер говорит: „народ, который боится взять в руки оружие, недостойн существования...“ Господин Каутский предсказал стабилизацию капитализма... Офицерам рейхсвера и полиции прибавили жалованья...

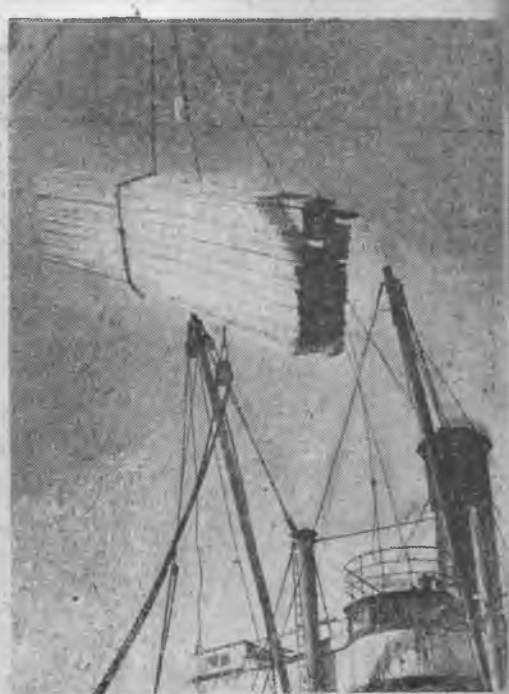
„Годы пронесли над нами, как небывалые грозы, годы, переделавшие карту земли, годы, уничтожившие спокойствие во всем мире. Трактирщик, куда укрыться от бурь эпохи!“ Такова последняя фраза, последний вопль писателя Августа Рейниша, пацифиста, патриота-буржуа.

Это была превосходная, можно сказать, классическая страна мыслителей и поэтов. Лучшее пиво, лучшие пушки.

## Прогулка без Бедекера



... И то, что происходит в Лондоне, происходит в Манчестере и Бирмингеме и во всех крупнейших городах. Везде равнодушие, беспощадный эгоизм — с одной стороны и беспредельная нищета — с другой; везде социальная война, дом



каждого в озадаченном положении, везде грабеж под охраной закона“.

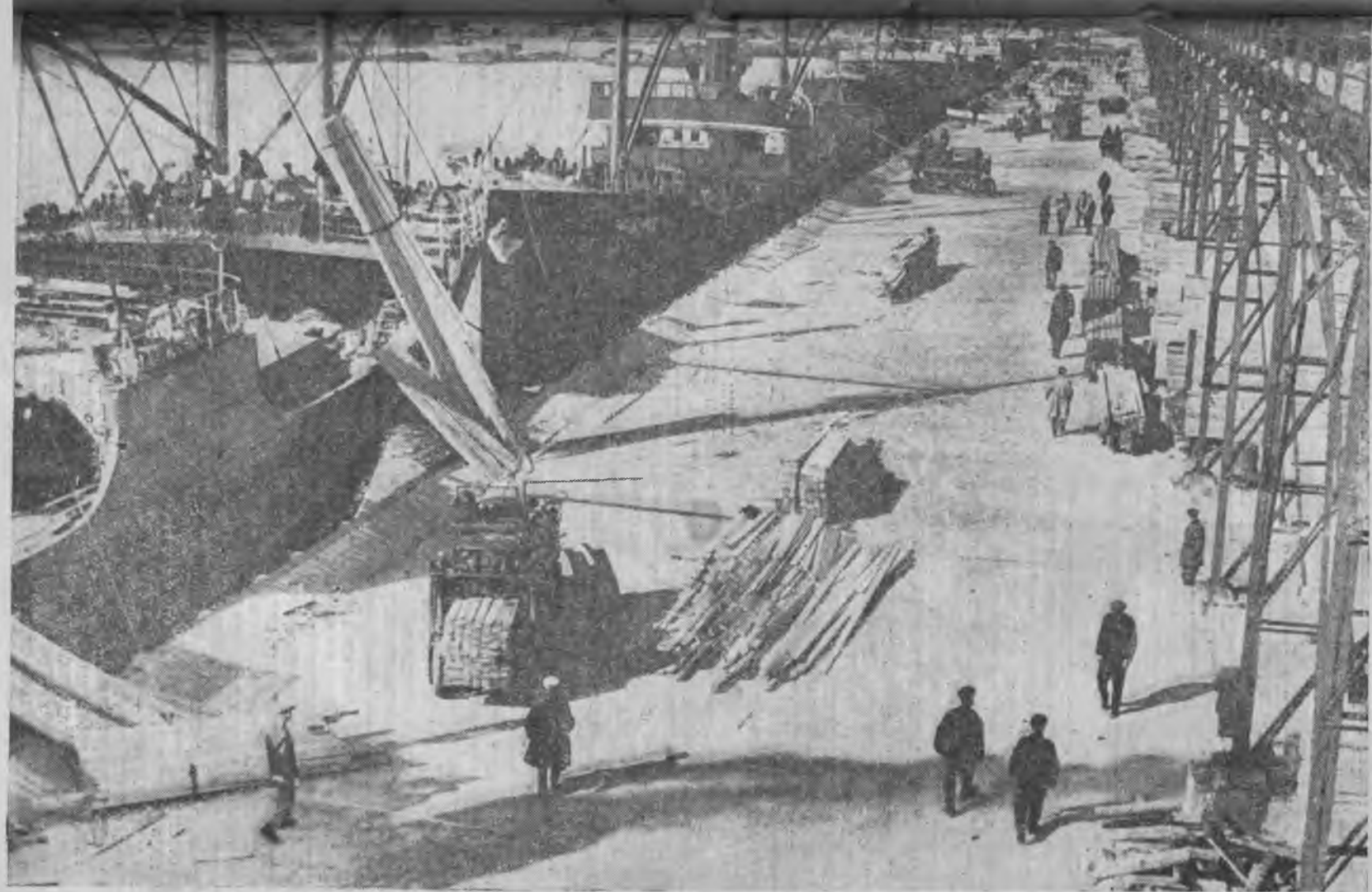
(Ф. Энгельс. 1845 г.)

Нигде и никогда с такой беспощадной ясностью, так ужасающе обнаженно не открывался звериный лик капитализма, как в этих городах, прославленных перед всем миром, воспетых многими песнями, высоко поднятых искусством.

Так создались в представлении человечества Нью-Йорк и Чикаго, города великого „бизнеса“ и процветания; так были навязаны шаблоны о веселом, легкомысленном Париже, о Петербурге — строгой поэзии Севера, о Гамбурге — бесшабашной поэтичной моряцкой вольности, о счастливой гавани на берегах Эльбы, о Вене — законодательнице мод и опереток.

Сколькими трудами царей, политиков, архитекторов, ученых, поэтов, сколькими записями туристов, сколькими восторгами дилетантов и бездельников, мыслящих и чувствующих по Бедекеру, создавался официальный портрет этих и многих других городов.

Знаменитые потемкинские деревни, выстроенные в несколько дней, дабы продемонстрировать августейшим очам процветание Новороссии, скоб края, вошли в арсенал буржуазной политики. Ясновельможная Варшава — убедительнейший тому пример. Нищее, экономическим нисходящее государство ухлопывает все деньги на вооружение и поддержание „европейского“ вида. И вот на одной из центральных улиц Варшавы, с великолепного моста, безработная Адамская бросилась в реку. Полицейские спасли ее, арестовали и немедленно упрятали в тюрьму. Нельзя портить блестящий пейзаж европейской столицы!



Ленинградский порт довел свой грузооборот в истекшем год/ до 4 000 000 тонн.

И все же всех в тюрьмы не упрячешь, хотя троить их капиталисты достаточно. Куда девать дно города, его налип, куда укрыться от рабочих кварталов?

Господа писатели, адвокаты, политики, попы доказывают, что таков извечный порядок во вселенной. Рождаются нищие и рабы, чтобы всю жизнь быть нищими и рабами. Рождаются министры и рабье, чтобы всю жизнь богатеть и повелевать. Лемброзо доказывал, что организм проститутки устроен иначе, чем организм честной женщины. Не всякий может быть богатым и счастливым. Миллионы людей не нужны для нормального хода экономической жизни.

Заводы, учреждения, школы, машины не нуждаются в них. Они могут умереть, сгореть, сойти с ума, убить себя электричеством, петлей, газом, револьвером, они могут изойти слезами и кровью, их может задавить паровоз, — все равно. По мнению, скажем, стопроцентного янки это — или неудачники или бездельники. Они должны покориться. Они не сумели урвать у жизни хорошего куска.

Городу-спруту становится невозможным носить маску приличия, благоденствия и гражданского мира. Город-спрут, отгораживающийся кордонами полицейских и шпииков, уже не может скрыть свои смердящие язвы. Он загоняет голод, нужду, революцию в особые кварталы, в средневековые гетто, он грубо лжет в газетах, в парламенте, в школе, в театре.

Искусственное солнце реклам почти затмевает настоящее солнце, в кафе сидят нарядные люди, розовые от тепла и вина, а рядом — эти кварталы дикой безысходной нищеты, где безраздельно властвуют туберкулез, голод, самоубийства. Здесь не смеются, сюда не попадает никакое солнце, ни настоящее ни искусственное.

Нужно пройти в эти кварталы, куда гиды не проводят путешественников; нужно войти в двери этих домов, где все слилось в черной массе закоптелых стен, кривых лестниц, дыбом стоящих ступенек; нужно вдохнуть этот воздух нищеты.

Есть жизнь, подобная смерти. Так живут здесь. Вот изнанка счастливой гавани. Вырождение, самоубийства, проституция.

Ежедневно на простынях гамбургских гат, в дневнике происшествий, колонки пети-та: „Безработный К. бросился в Эльбу. Он уже три месяца не платил за квартиру“. „Девятнадцатилетняя девушка Э. отравилась вчера веро-валом. Она потеряла работу, ее отец также безработный“. „Вчера полиция нашла труп молодого человека в канале. Имя его и причина смерти неизвестны“. Количество людей, кончающих счеты с жизнью, неизменно растет. В счастливой гавани в ноябре 1928 года по-кончили с собой тридцать восемь человек, в феврале 1930 года — сорок восемь, в марте — уже пятьдесят пять. Половина самоубийц — женщины. Женщины счастливой гавани.

Гамбургская работница Гертруда работает в гавани на складах изюма. „Мы работаем в ужасных условиях, — рассказывает она, — Под такой грязный и скользкий, что ра-



... В кафе сидят порядочные люди...

ботницы боятся сломать себе руку или ногу. Фирма не привозит ни песка ни опилок, стараясь сэкономить и на этом. На производстве нет аптечки, хотя несчастные случаи очень часты... После вычетов у меня остается пятнадцать марок в неделю. Комната, хлеб, маргарин, стирка белья, мыло, отопление, обеды — все это обходится четырнадцать марок...“

Но эта счастливица все-таки работает. А те, что не работают? Те пополняют тридцатитысячную армию зарегистрированных проституток в возрасте от шестнадцати до шестидесяти пяти лет. Проститутки не сидят больше в клетках, — это портит репутацию знаменитого города. Они бродят по улицам и переулкам, сидят на скамейках, торчат в окнах.

Этим, в качестве „побочного ремесла“, занимаются матери семейств, отцы, дочери. Служащие девушки получают шестидесять-семьдесят марок, но они должны быть элегантны, завиты, в шелковых чулках. И они, отрывая от себя обед, копят на шелковые чулки. И когда бич безработицы ударяет их, они входят в число тех, чей организм устроен иначе, нежели организм честной женщины“.

— Мы в Германии, — пишет тов. Крелла, — слишком привыкли к безработице. Она стала таким бытовым, само собой разумеющимся явлением, как двадцатипятипфенниговый трамвайный билет. Она кажется нам таким же неустрашимым фактом, как резиновая дубинка полицейского, как жертвы уличных схваток с полицией.

Господа экономисты „изобрели“ столь же неодолимое, сколь и точное определение безработицы. Они называют ее технологической. Это потому, что машина вытесняет человека



из производства. Жестокая капиталистическая рационализация выбросила на улицу миллионы рабочих. Расценки устанавливаются применительно к производительности труда абсолютно здорового и высококвалифицированного рабочего в цветущем возрасте. Если не можешь тягаться с „цветущим“ — иди на улицу.

Пожилым рабочим старше пятидесяти лет труднее находить работу, чем кому-либо. Молодежь выносливее, здоровее, лучше выдерживает бешеную нагрузку. Машина, капиталистическая рационализация стали проклятием рабочего класса. И среди каменных громад города, словно в каменном лесу, бродят сонмы бледных теней, лишние люди капитализма, миллионы лишних ртов.

„Если бы внезапно, в одну ночь, умерло двадцать миллионов наших граждан, Германия стала бы са ой богатой страной мира“.

Таково сверхзамечательное пожелание господина Вердта, министра юстиции в правительстве Брюнинга.

Десятки миллионов лишних людей, лишних ртов! Они уже не помещаются в Бауэри Нью-

Йорка, в лондонском Уайтчепле, в средневековых гетто Праги, Вены, Гамбурга. Они переклещивают в центр, на блестящие проспекты, в подстриженные парки. Они оскверняют святые камни Европы, они селят на белокаменных террасах нью-йоркской Центральной библиотеки, прикрывшись „гуверовскими одедами“ — газетами. Они нарушают стиль великих городов. Они устанавливают свои традиции.

В день безработицы, в день Первого Мая они завоевывают улицы и площади. Разве не знаменит „Красный Веддинг“ и его песня:

Лингс, лингс, лингс унд лингс,  
Дробь барабанная бьет,  
Лингс, лингс, лингс унд лингс,  
То красный Веддинг идет.

Эта песня нарушает стиль многих великолепных городов. Бызуют такие дни, когда красные знамена захватывают город — и никакая сила, ни слезоточивые газы американских полицейских, ни самолеты парижских ажанов, ни резиновые дубинки шуцманов не могут противостоять этой силе. Эта сила выстраивается в тысячные колонны и идет мимо аристократических вилл, мимо дворцов и великолепных решеток, и, кажется, весь мир содрогается от этого шага.

### Список благоденний

В счастливой гавани (не той, что заменяет царство небесное, а настоящей гавани) живут так:

—Одежды, — говорит товарищ К., — я давно не покупал. То, что на мне и на моей жене — это все, что мы имеем. Только вот кепку мне пришлось все же купить, — говорит он, показывая дешевенькую серенькую фуражку, — в стычке с полицией потерял. И теперь из своих девяти марок я еще должен был отдать три марки за кепку.

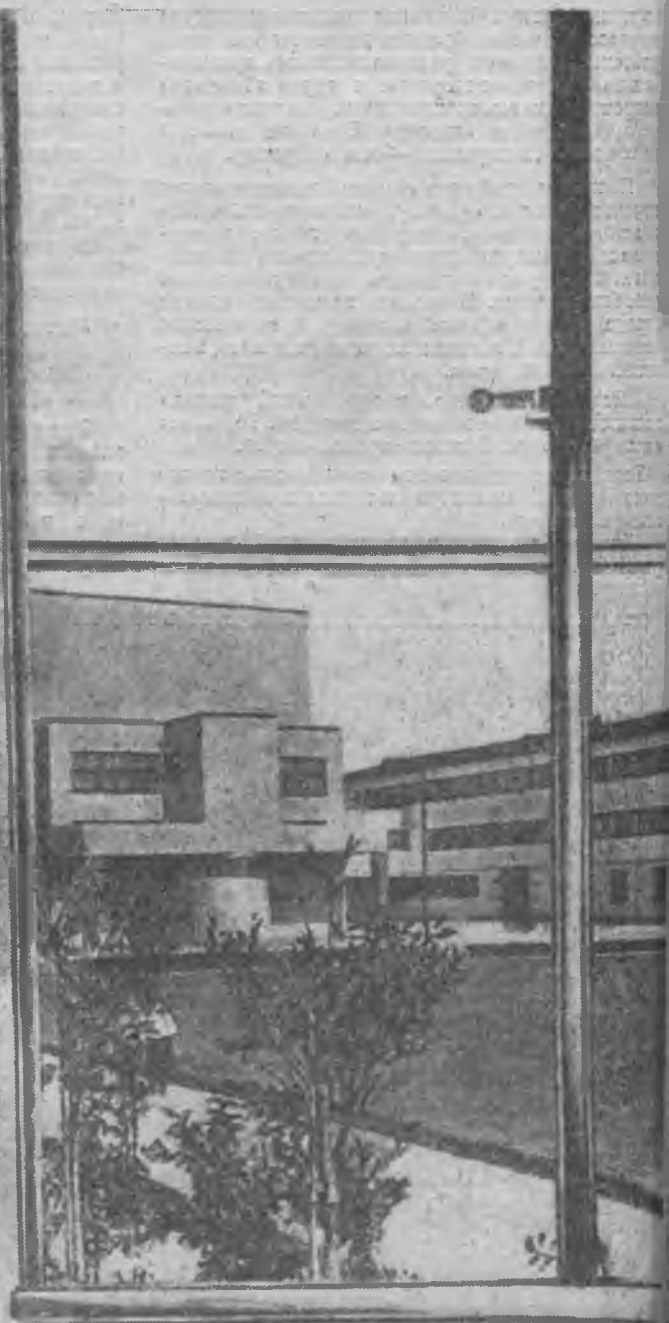
Товарищ К. без работы три года. Пособие — 9 марок. Безработная жена та же имеет девять марок. Если они вступят в официальный, освященный государством брак, их совместное пособие будет равняться четырнадцати маркам. Их бюджет таков: квартирная плата (без газа и электричества) шесть марок. Остальные расходятся на хлеб и иногда картофель. Горячей пищи им есть не приходится, — не хватает денег на топливо.

Другой портовый рабочий, товарищ Г., протягивает свою расчетную книжку. Его семья получает восемнадцать марок пособия в неделю. В „счастливый“ рабочий день (таких было одиннадцать за два года) он зарабатывал восемь марок пятьдесят пфеннигов. Из них три



„Количество самоубийств непрерывно растет.“





... Ленинград восстанавливается, растёт и крепнет вместе со всей страной...



Город-спрут загоняет голод, нужду в особые кварталы.

ярки пятьдесят пфеннигов он платит в больничную кассу, семьдесят пфеннигов за социальное страхование. Пособия в этот день он не получает. Итого он работает день за одну марку пятьдесят пфеннигов, иначе — за семьдесят пять копеек.

Третий рабочий. За пять лет (!) два дня (!) работы...

Четвертый...

Но не довольно ли? Ведь их нужно пересчитать сто тысяч. Из двухсот тысяч пролетариев Гамбурга — сто тысяч не работают. Каждый второй — безработный.

В счастливой гавани живут так:

Рабочий-металлист, при полной рабочей неделе в сорок восемь часов, получает тридцать пять марок в неделю. Половина металлистов работает неполную неделю. Из числа работающих во всех отраслях большинство работает от двух до четырех дней в неделю.

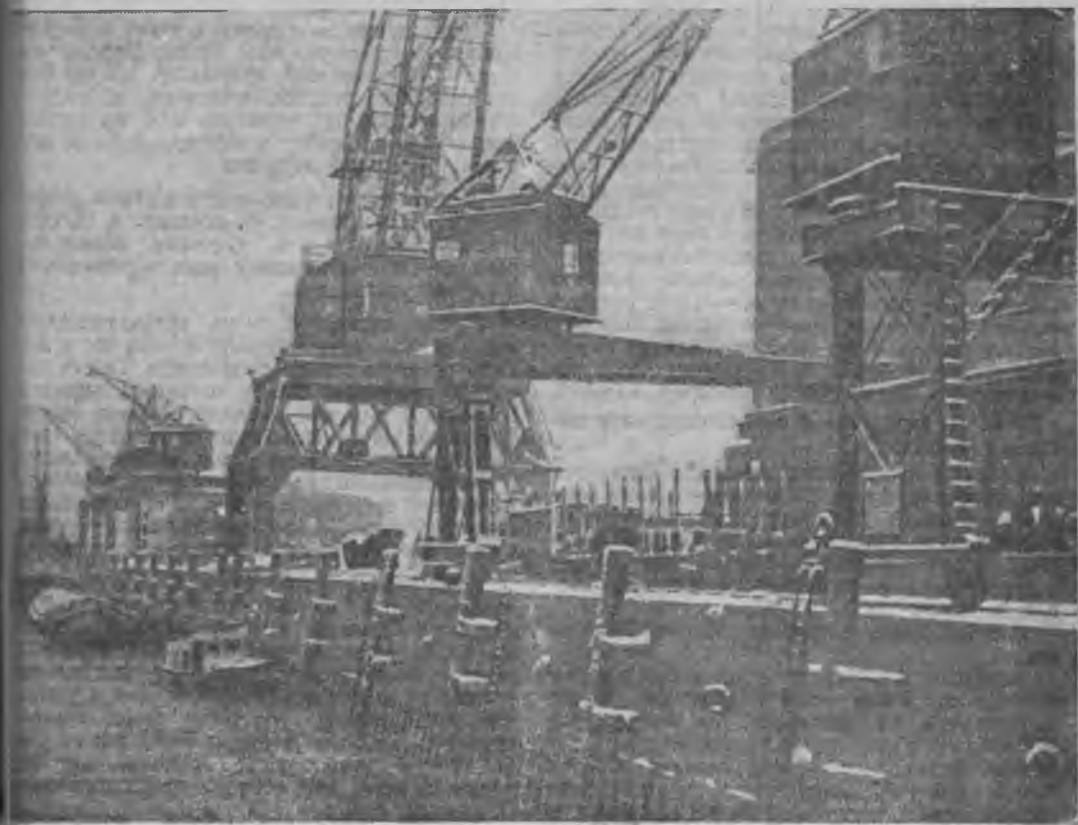
Один миллион семей не имеет в Германии собственной квартиры. В Гамбурге бездомных около ста тысяч. В пролетарских кварталах не редкость встретить семью из восьмидесяти взрослых и детей, ютящихся в одной комнате. А в кварталах буржуазии какой-нибудь бездетный герр Шварц с супругой, кошкой и кухаркой занимает особняк в двенадцать комнат!



Повсюду пустуют сотни домов и квартир. Квартирная плата превышает здесь месячную заработную плату. Несколько десятков тысяч грудящихся Гамбурга вообще не получают никакого пособия. Эта страшная безработица навредила черную тень на город. Темные, бледные лица, бескровные губы, потертые платья, заношенная шерстяная фуражка — это все, что они имеют. Остальное проедено, продано...

Они бродят бесцельно, бестолково по безрадостным улицам, по затхлым гаваням. Единственное обязательное занятие — отмечаться ежедневно на посреднических бюро. Ого, попробуйте один день пропустить! Тотчас же из пособия вычитается одна шестая. Потом можно наведаться в портовую биржу труда. Глухое длинное здание. Где она, хваленая немецкая аккуратность? Грязный пол, ободранные стены, серые толпы безработных.

Три раза в день приходят наниматели. Это похоже на покупку рабов. Предприниматель выбирает с высокого помоста. А толпа голодных измученных людей тянут вверх дрожащие руки. „Меня, меня!“ В каждой руке карточка дающая право наняться на работу. Из нескольких тысяч безработных выбираются три человека. Разумеется, здоровые и молодые. Ведь расценки устанавливаются применительно к производительности труда, абсолютной



### Гамбургский порт молчалив и безлюден

здорового и высококвалифицированного рабочего в цветущем возрасте".

И снова выходят они под пасмурное небо счастливой гавани... Мировой порт замолк. Альтона, Ганзагафен, Альстер. Они могут ежедневно принимать и отправлять сотни гигантских судов. Сейчас гиганты дремлют на приколах, молчаливые признаки кризиса, краха, паралича. Волнообразные огромные верфи зияют пустотой. Подъемные краны и прессы недвижимы. Таможенным чиновникам, ревностно ищущим контрабанды, нечего делать. Знаменитый Эльбтоннель выбрасывает мелкие кучки рабочих. Более тридцати тысяч моряков сошло безработными на берег. Тысячи докеров бродят по асфальтовому набережному Эльбы.

Умолкает грохот на Вулкан-верфи. От семи тысяч осталось семьсот человек. У Блюма и Фосса стопроцентное сокращение рабочих. Еще бы! Имеется излишек по крайней мере в пять миллионов тонн морского тоннажа, и небольшое количество этого излишка приходится на долю Гамбурга. Очень редко гремит в порту небедка. Не надолго оживают железные мертвецы.

Счастливая гавань изредка строит конторы, церкви и тюрьмы. Универмаги Вильгельмштрассе, знаменитые универмаги Карштадта полны товарами. Но подозрительно много домов:

„Сегодня у нас распродажа“.

„В виду ликвидации магазина, скидка пятьдесят процентов“.

„Спешите воспользоваться случаем, — сегодня только у нас все дешево“.

И когда спускается вечер над старым городом, не везде замечаются огни, не всюду бежит вода и греет газ. Один за другим выключают в домах свет, тепло и воду. И веселый Сан-Паули не заменит более царства небесного. Понемножку перестают подмигивать веселые огни кабачков. Музыка уходит помаленьку из улицы Риппербан. Даже Карл Гагенбек свертывает свои дела. Экземпляры редких зверей проданы в другие страны. Оставшиеся звери, забившись в углы клеток, жмутся от холода, злобно рычат львы, тигры, бурые медведи.

Неужели счастливая гавань никогда не была счастливой?

...Директору Куно, бывшему когда-то рейхсканцлером, директору пароходного общества „Северо-германский Ллойд“, жалование не убавленно. Герр Куно получает шестьсот тысяч марок в год, или две тысячи марок в день.

Господа гамбургские сенаторы получают, разумеется, меньше, чем герр директор. Сенатор получает всего тридцать тысяч марок в год, только сто марок за рабочий день. И если вдруг господин гамбургский сенатор лишится работы, то город будет выплачивать ему двад-

дать четыре тысячи марок в год, или шестьдесят пять марок за безработный день. На эти пенсии счастливая гавань ежегодно расходует около миллиона марок. Недавно господа сенаторы сэкономили пять миллионов марок, которые коммунисты предложили ассигновать на борьбу с детской смертностью. Господа гамбургские социал-демократы, заседающие в сенате, помогли буржуазным партиям отклонить коммунистическое предложение. Герр Бандман, член социал-демократ, предложил изыскать другие средства помощи. „Ведь рабочая семья, — утверждает Бандман, — может отлично прожить и на сорок марок в неделю. Поэтому следует урезать более высокие оклады (разумеется, для рабочих) и из полученных сумм организовать фонд помощи рабочему классу“.

Разве не оправдывают эти господа свое высокое жалованье?

Массы заплатят! Голодные законы Брюнинга сокращают зарплату. Экономия — триста миллионов марок. В 1918 году декретировали государственное обеспечение безработных. О, это была минута слабости. Нужно приучиться в суровое для республики время потуже стягивать живот.

В своей статье о цинизме Максим Горький пишет:

„Профессиональные радетели о благе рабочего класса, вожди социал-демократии, члены издыхающего от малокровия и бездарности II Интернационала, збыв на старости лет, кто именно является исконным врагом рабочего класса, кажется, хотят, но еще не решаются сказать своей покорной пастве: „ешьте как можно меньше, а еще лучше — не ешьте совсем!“

Теперь они уже решились.

В „Форвертс“ некий Блюменталь-Варби, врач, утверждает и доказывает путем целого ряда выкладок, что в Германии рабочий класс может прожить на пятьдесят пять копеек в день.

Что же ответил „Форвертс“? Бурей возмущения, негодования?

„Одну заслугу мы можем признать за доктором Блюменталем: он дал семьям с крайне ограниченным бюджетом совет, как наладить максимально здоровое питание при минимальных затратах“.

Пособие безработному определяют, исходя из заработка последних шести недель. Чем меньше получал рабочий, тем скуднее его пособие...

Зато отставной генерал императорской армии, достопримечательность счастливой гавани, получает пособие в две тысячи марок в месяц. И никто не определяет его заработок за последние шесть недель!

Разве счастливая гавань переставала когда-либо быть счастливой гаванью?

## Еще о достопримечательностях счастливой гавани



Наша битва первой пулей глухо  
В гамбургских кварталах прозвучала.

Маршируйте бодро, не теряйте духа,

Приготовьтесь и стреляйте смело.

(Песня гамбургских баррикад.)

Кроме пудингов и тронных речей в Великобритании существует еще мистер Бертон, почтенный и уважаемый публицист. Мистер Бертон специализировался, очевидно, в писании патристической публицистики. В торжественный день рождения короля у мистера Бертон поднялась рука написать так:

„Ни в одной стране не сохранилось столько старых, добрых традиций, сколько в Англии. Любость к королю есть традиция, освященная веками, — она объединяет всех британцев, от лорда до углекопа“.

Газета компартии очень своевременно напомнила мистеру Бертону о том, что традиция — явление весьма проходящее. Газета компартии напомнила также известное изречение Вольтера о том, что историю Англии следует писать палачу. Достаточно подсчитать количество верноподданных голов, чтобы убедиться в относительности любви народа к королю. В Англии существует компартия, революционные профсоюзы, стачечное движение — может быть и это не убеждает мистера Бертон?

Гамбургский пролетариат в 1922 году продемонстрировал своим отечественным Бертонам, всей Германии и всему миру, что не может быть „единства интересов“ между рабочим классом и его угнетателями, что никакие интересы не могут объединить лордов и углекопов. Гамбургское восстание разом поглотило паутину национал- и социал-фашистского садоводства о возрождении Германии, сотрудничестве классов, жизнеспособности капитализма.

В 1923 году гамбургский пролетариат создал эту незабываемую достопримечательность вольного города — гамбургское восстание. Уроки его живы, память о нем не умерла. Песни его поются, многие участники его живы. Они рассказали тем, кто не знает, как дрались за революцию кварталы Бармбек, Шифбек, Хамм, как горсти рабочих захватывали полицейские участки, как пролетарии били правительственные войска, как эхо баррикадных боев сотрясало весь мир.

Гамбургское восстание отступило. Однако это не было отступлением побежденных, разбитых наголову. Под прикрытием своих пролетарских стрелков восстание отступило и развилось в рабочих кварталах. Рабочий Гамбург принял и укрыл героических борцов гамбургских баррикад.

Вместе с восстанием отступил и рядовой отбоек рабочий Рольфсхаген. У него был единок с несколькими десятками полицейских ружей. Он расстрелял в лицо врагу последнего патрон. Его ранили в голову, в грудь, в живот. Он лишился сознания. Однако Рольфсхаген не умер. В больнице из тела его извлекли пули и поставили его перед правосудием господина Шейдемана. Господин Шейдеман помиловал Рольфсхагена и дал ему десять лет каторги. Когда конвоиры уводили его, он крикнул в толпу, наполнявшую зал суда, и голос его был услышан друзьями и многими другими:

— Не забудьте вычистить мой револьвер скоро за ним приду!

Рядовой боец Рольфсхаген очень хорошо выразил мысли и чувства гамбургских



ского восстания. Это было в 1923 году. Теперь Рольфсхагенов сотни тысяч.

„Несмотря ни на что...“ — так начиналась предсмертная передовая статья Карла Либкнехта в „Роте фане“. Он писал: „Мы существуем и будем существовать. Победа будет нашей несмотря ни на что“. Эти слова написали на своем знамени красные фронтовики. „Несмотря ни на что — Ротфронт!“

Не все рабочие продаются за тарелку чечевичной похлебки и ночлег, не все отравляются светильным газом. Комартия ведет миллионы сжатых кулаков. Они разожмут их, когда нужно будет взять оружие!

Нынешний Гамбург имеет много достопримечательностей. В центре вольного города, меж роскошных кварталов, затерялась маленькая улица — Валентинскампф. Можно спросить о ней у любого прохожего и он воскликнет:

— А, Валентинскампф сорок два! Знаю. Там же помещается КПГ...

Валентинскампф, 42, нарушает стиль купеческого, благополучного Гамбурга. Отсюда протянуты нити на заводы, фабрики, верфи, в революционные профсоюзы, здесь штаб всего коммунистического движения приморского района. Валентинскампф, 42 — там помещаются гамбургский городской комитет и редакция газеты „Гамбургер фольксцейтунг“.

Газета существует в Гамбурге с 1919 года. Это был орган независимой социал-демократической партии. Независимые социал-демократы, во главе с Тельманом, перешли в 1920 г. к коммунистам. Газета стала коммунистической. В 1923 г. она призывала к вооруженному восстанию. Ее закрыли. С этой поры установилась прочная традиция закрывать газету перед каждой маевкой, каждой политической демонстрацией. И все же газета выходит. Больше того, нелегальный номер газеты открывается таким объявлением: „Шанфилдером запрещена — нами разрешена“. И лозунг: „выходите на улицу несмотря на запрет, демонстрируйте за низвержение фашистской диктатуры“.

А среди президентского списка, среди фельдмаршалов, политических авантюристов и адвокатов, уже много лет фигурирует имя кандидата компартии: Эрнст Тельман, рабочий города Гамбурга.

Да, в нынешнем Гамбурге прибавились кое-какие достопримечательности. На такой же маленькой улице, вроде Валентинскампф, находится штаб революционной профпозиции. Сюда также можно найти дорогу без гда. Красный профсоюз моряков метко бьет по реформистам, профбюрократам, по всем врагам революционных рабочих. Красная звезда горит ярким пламенем над входом в „Интернациональный клуб моряков и докеров“. На стенах Маркс, Ленин, коммунистические плакаты, лозунги. Наверху, в маленькой комнате, помещается секретариат красного союза моряков. Эти организацию хорошо знают капитаны и судья.

Идите дальше по старинному городу, и можно будет вам доведется увидеть кварталы

с красными флагами. Один, другой, третий квартал, и на каждом домике плещется красный флаг. Работница или мальчик охотно объяснят: это „Kleine Moskau“ — маленькая Москва. Здесь свои порядки и свои законы. В такие дни, как день великой Октябрьской революции, Парижской коммуны, никто из жителей маленькой Москвы не выходит на работу. Дома разукрашиваются красными флагами. Фашисты и полиция боятся сюда показаться, а тем более срывать флаги. Населяющие эти дома рабочие — большею частью красные фронтовики, а они могут дать такой отпор...

## Петербург — Петроград — Ленинград

Это имя, как гром и как град,  
Петербург, — Петроград — Ленинград.

(Н. Асеев.)

„Петербургу быть пусту“.

(Из писаний З. Гиппиус.)



...Горд Ленина, горд великого нашего прошлого и настоящего, колыбель большевизма, город Октябрьской революции и крупнейший центр социалистического машиностроения, — вступает в период развернутой реконструкции...

(ЦО „Правда“ 5/XII — 31 г., передовая.)

Санкт-Петербург прошел весь путь капиталистического развития. Санкт-Петербург считался самым „европейским“ городом России. Город белых ночей и фиолетовых закатов, мировых дворцов и сокровищ искусства, жемчужина Севера — вот официальный портрет города Санкт-Петербурга.

Настоящее лицо капиталистического Петербурга, лицо военной твердыни, оплота самодержавия, было на окраинах и даже по соседству с Невским проспектом, задитым „морем света“. Кстати сказать, это „море света“ только на одну пятую было электрическим, остальное — газ, керосин, даже свечи.

Тут же, в городе блестящего Невского проспекта, существовал страшный Петербург Достоевского, населенный неврастениками, мятушимися студентами, зловещими старухами, похожими на цыганок дам, ростовщицами, чиновничьими женами, пропахшими пеленками и яичным мылом, неудачливыми карьеристами, бездомными литераторами. Они дышали здесь каким-то потрясающим воздухом тления, кислой капусты и застиранного белья, рождалась, чахла, болели, спали, работали. На чадлых дворах, на выщербленных булыжниках, поросших немощной травой, играли в орлянку грязные и бледные дети с глазами, налитыми золотухой. Отойдя на окраины, в рабочие улицы и дома, можно было еще более постигнуть это хищническое хозяйствование капитализма. Как и во всех городах капитала, русские хищники обстраивали центр и острова прекрасными особняками, а рабочая окраина прозябала без света, без тепла, без воды, с удобствами, оставшимися со времен Петра I.



# S L E B E



... Компартия ведет миллионы сжатых кулаков.

Вот кусочек жизни, неприкрашенный ничем: было человек тридцать рабочих, все владимирские мужики. Они жили в подвале с цементным полом и маленькими окнами ниже уровня земли. Вечерами, измученные работой, поужинав щами из квашеной канусты с требухой или солониной, от которой пахло селитрой, они выпоязали на грязный двор и валялись на нем. В сыром подвале было душно и всегда угарно от огромной печи" (Максим Горький).

Рабочие Санкт-Петербурга хорошо помнят о том, что такое „угловой жилец“. В 1912 году их было в Петербурге сто пятьдесят тысяч. Немалого популярностью пользовались также „колючие каморочные“ квартиры. Это — квартиры, где комнаты перегорожены на множество клешек с койками, иногда в два яруса. Жилая площадь в этих, с позволения сказать, комнатах была меньше „гробовой нормы“. Покойнику самодержавие отпускало земли два метра длины и три четверти ширины.

В Санкт-Петербурге в 1910 году рабочие-одиночки жили в ассенизационных барках, предназначенных для перевозок нечистот. И все же, как правило, наиболее высокая квартирная плата была в рабочих кварталах. В 1908 году на аристократической Сергиевской улице, ныне имени Чайковского, одна кубическая метр жилой площади с отоплением в барском доме стоила восемнадцать руб. в год. В это же время на несколько менее аристократической Гатчинской улице та же кубическая метр жилая, только в темном сыром подвале, без света и отопления, тридцать пять рублей. Сто процентов разницы! Как жилье в руках капиталистов превращалось в средство дополнительной эксплуатации рабочего класса.

Этот город имел много обликов: великий каменный Петербург самодержавия, построенный на рабочих костях, канонизированный в литературных святынях, город, чья история впитала столько, сколько хватило бы и сотни других городов, колыбель революций и революций, классовых битв, забастовок пролетариата, подготовивших великий Октябрь семнадцатого года.

Петроград империалистической войны, наводненный беженцами и калечащий, парализованный манифестациями, парламентскими речами, с лихорадкой военной промышленности, с миллионными покражами интендантов, скопившимися тыловыми крысами, офицерскими кутежами, войной до самого конца, февральскими красными флагами.

Красный Петроград победившего империализма, голодный, холодный, умирающий город, сжатый кольцом интервенции и блокады, изъеденный тысячами вшами, зияющий черными впадинами окон. Рабочие в белой гвардии, потом в Красной гвардии. Юденич на Пулковских высотах произносит свою историческую

фразу: „Через час я буду на Невском“. Невский был одним из укрепленных районов города, где громоздились штабели дров и возводились баррикады. В эти дни, до краев насыщенные героизмом, фронт и тыл были неотделимы друг от друга. Опытнейший стратег не мог бы провести линию на карте фронта, определяющую, где кончается тыл, где начинается фронт. Город не разграничивал функции бойца, защищающего подступы к Красному Петрограду, и рабочего, ковавшего снаряды и внутреннюю оборону..

Были биты самые крупные козыри Антанты — Юденич, Деникин, Колчак, Врангель. Белогвардейцы и интервенты всего мира довершили разрушение промышленности и хозяйства. Они разрушали страну всем, что осталось неизрасходованным от бойни народов: танками, аэропланами, бомбами, тяжелой артиллерией. По самым скромным подсчетам это разорение выражается ужасающей цифрой: две тысячи сто миллионов рублей..

В 1917 году, буквально через несколько дней после Октябрьского переворота, произошел акт величайшей социальной справедливости. Тысячи рабочих семей из сырых подвалов, из конур, омытых жидкой плесенью, пересели



„Транктирщик, куда укрыться от бурь эпохи..“

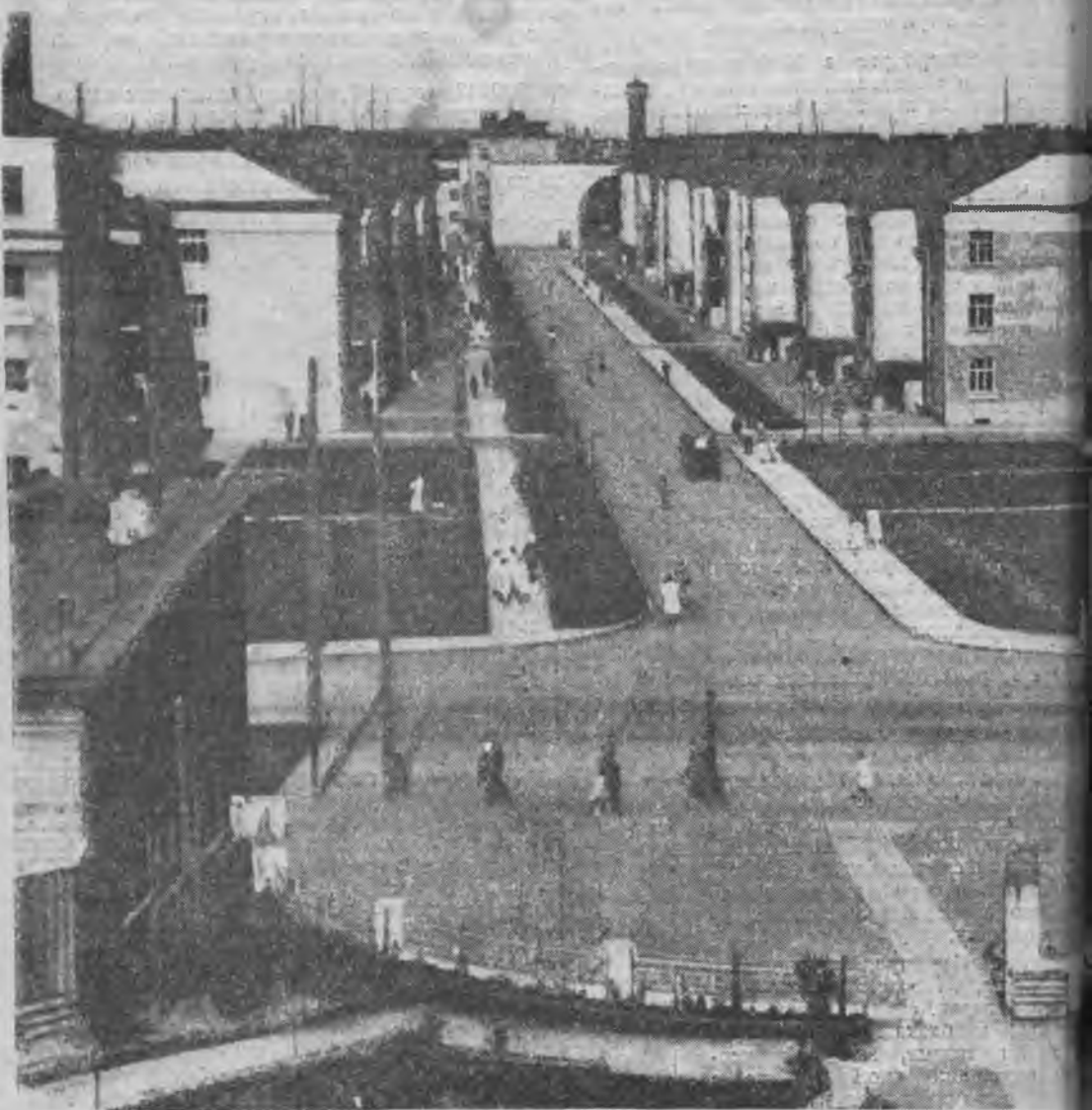
лись в дома, особняки, квартиры изгнанных капиталистов, буржуа, рантье и всех иных паразитов.

Однако это не значило, что питерский пролетариат полностью завоевал хозяйство города. Помимо восстановления этого хозяйства, пролетариат вел настоящую классовую войну в домах, войну этажей, войну за полное овладение этой цитаделью быта, второй половиной человеческой жизни. Эта война шла под флагом многих задач: жесткое проведение советского жилищного законодательства, борьба с бывшими и настоящими буржуа, упразднение института квартирохозяев, домовых частных эксплуататоров.

Сейчас ушли в прошлое бывшие секретари бывшей императрицы Марии Федоровны, какие-то подозрительные люди с благородными подтеками под глазами, окопавшиеся в правлениях домов. Травой забвения порастает память о страшном наследии последних былых времен — квартирной хозяйке, сдававшей за баснословные деньги комнату без пола и потолка, с видом на помойную яму.

Эта война была жестокой, упорной, даже кровавой. Достаточно вспомнить дело Калганова и Караваева.

...Город восстанавливался долго, упорно, с огромными трудностями.



Фонари давно потушены,  
А в мозгу сверлиг, сверлиг.  
Семь домов уже разрушено.  
Девять нужно остеклить...

Субботники, великий почин питерского пролетариата, шли один за другим. И вот уже меняется лицо демонстрации. Над их головами уже плавают диаграммы роста, цифры достижений. Страна берет на себя гигантскую, всемирно-историческую задачу: в десяток лет догнать и перегнать передовые страны капитализма. И город восстанавливается, расцвет и крепнет вместе со всей страной.

Это — Ленинград уже окрепшего, мощного пролетарского государства.

Это — гигант, занимающий седьмое место в ряду всех других гигантов мира.

Это — мировой порт.

Это — центр индустрии.

Это — узел, откуда во все стороны расходятся пути железных дорог, воздушных дорог.

И ему, бурно растущему, тесно в окружении Петербурга и Петрограда.

Новый город вырастает внутри старого, преодолевая его. Знаменитая Адмиралтейская игла Петропавловская крепость, Литовский замок — это от Санкт-Петербурга. Это останется на память. Революция сохраняет ценное, обра-



ставляет ненужное, использует то, что может служить сегодняшнему. Когда-то путиловские рабочие сделали замечательную решетку для ограды перед Зимним дворцом. Теперь хозяева решетки привезли ее себе обратно. Императорские орлы перелиты в детали машин, а решетка служит оградой сада на улице Стачек, за Нарвской заставой. Здесь, за Нарвской, выросла и окрепла одна из лучших партийных организаций. Здесь, на улице Стачек, в доме № 21, по соседству с „Путиловцем“, нелегально проживал и руководил партией в 1905 году Ленин. У Нарвских ворот, сооруженных в честь царской гвардии, жандармы 9 января расстреливали рабочих. А сейчас новая застава, бурно вырастая внутри старой, утверждает новый стиль пролетарского города двором культуры, фабриками-кухнями, целыми кварталами новых домов.

В этих математически точных домах с прямыми, строгими очертаниями умирает старый, порочный, тлеющий мир. Здесь у советского рабочего своя квартира, чистота, культура, достаток, условия для отдыха и роста... Вот несколько строк из рассказа обитателя такого дома, простых и безыскусственных строк:

„Жили мы в гнилых домах, которые рабочие прозвали „мышеловкой“. Вся семья занимала комнату в две сажени, — рассказывает мастер листопрокатного цеха, товарищ Коротня. — Всего в нашей квартире жило сорок человек. У рабочих было только три развлечения: пьянство, кулачные бои и карты. Кто не пил, на того смотрели, как на отверженного. Мы, малыши, потрафляли взрослым... То чувство раба, которое было раньше — страх перед хозяином дома, мастером, лавочником — сломлено. Инстинкт раба нелегко было преодолеть. Сейчас мы чувствуем себя хозяевами... Я живу в новом доме со всеми удобствами. Занимаю комнату в двадцать метров. Прежде я боялся даже пройти мимо такой комнаты. Я имею все возможности учиться дома и в учебно-производственном комбинате завода. У меня хватает денег на покупку литературы, не говоря уже о том, что я пользуюсь заводской библиотекой. В свободное время я хожу в большие и малые театры. Помню, в прежнее время пошел я как-то в кино „Колизей“. Меня оттуда выгнали. Единственное место, куда мы раньше могли пойти, — это балаган и карусели. Писать можно было бы еще очень много. Если сравнить 1913 — 14 годы с моей теперешней жизнью, то это будет казаться каким-то сном...“

Не все еще живут в таких условиях. Но и то, что сделано, является громадным сдвигом. Историческое постановление партии и правительства, ассигнование огромной суммы в двести девяносто миллионов рублей на один только год, переворачивает новую страницу в истории Ленинграда.

„Петербург был пусту!“ Это пророчество сбылось в том смысле, что пустеет старый Петербург и вырастает новый Ленинград. Город заново рождается на наших глазах. Он будет весь зеленый, электрический, блестящий светлыми красками — этот прославленный каменный павсареник, воспетый сумеречными людьми сумеречного века. Они творили скорбные

и томительные страницы петербургских повестей, внимая дробному гороху полицейских свистков. Да, этому Петербургу быть пусту!

Настоящее Ленинграда — мирового портостроителя социалистической индустрии, центра научно-технической мысли — не уместается в современных условиях. Ленинград вооружает колхозные поля, фабрики и заводы Союза турбинами, тракторами, блямингами, дизелями, генераторами. Здесь развилось мощное машиностроение. Промышленность Ленинграда осмела, борясь за экономическую независимость, полторы сотни новых производств. Пятилетний план выполняется Ленинградом в основном в три года. Пролетариат Ленинграда идет в авангарде социалистического строительства, технически вооружая пролетарскую революцию.

Здесь, в институтах, лабораториях, академиях, током неизмеримого волтажа бьется творческая, изобретательская, научно-исследовательская мысль. Здесь проектируются новые гиганты советской индустрии, разрешаются крупнейшие проблемы социально-технической реконструкции всего народного хозяйства и выковываются кадры для строительства.

Шесть-семь лет назад со ступеней Балтийского завода были спущены на воду первые советские лесовозы, первые корабли советского торгового флота. Это был день скромного торжества. Иностранцы, присутствовавшие на спуске судов, с недоверием постукивали обшивку судов, нюхали и ощупывали каждую гайку. Наркомвнешторг, покойный Л. Б. Кристин, сказал, приветствуя балтийцев:

— Самое важное в этих великолепных пародах — освобождение от иностранной зависимости. У нас мало денег, чтобы построить нужное количество судов. Но мы сжимаем наши ограниченные средства в единый советский кулак и с силой бьем по наиболее слабому месту вражеского фронта...

Сейчас единый советский кулак бьет с удвоенной силой. Строительные верфи спустили на воду десятки лесовозов, теплоходов, пароходов и траулеров. И над портом Ленинграда в 1932 году взвился флаг двенадцати большевистской навигации. Новые тысячи пароходов будут погружены и разгружены у его причалов. Ленинградский торговый порт доведет свой грузооборот в истекшем году до четырех с половиной миллионов тонн. Эта цифра выдвигает его в ряд крупнейших портов Европы. Сорок тысяч рабочих успешно справляются с переработкой сложнейших грузов импортного оборудования для Магнитогорского и Кузнецких гигантов. Дальнейший грузооборот порта достигнет пяти с половиной миллионов тонн. Половина производственных процессов будет механизирована. Порт одновременно сможет принимать до двухсот судов. Работа будет вестись в три смены. В этом году впервые бригады грузчиков будут специализироваться на одном роде груза и на специальном способе его переработки. Не менее половины грузов должно выгружаться с пароходов прямо в вагоны, минуя склад. Рабочие порта хотят довести работу кранов до двадцати часов в сутки, вместо десяти.





Германский рабочий порывает с социал-фашизмом. Он рвет партийный билет социал-демократа. Он идет под знамена компартии



Когда заканчивается беспокойная жизнь порта?

Кажется, никогда!

До навигации — повседневная, упорная, кропотливая подготовка к ней. Навигация — день и ночь переработка грузов. И уже высятся стройный костяк Дома культуры Ленинградского торгового порта, укладываются кирпичи просторных стандартных домов для портовых рабочих.

— А мы-то как живем, — рассказывал в гамбургском клубе моряков кочегар Лео Шлатер, бывший портовик Гамбурга. — Вы же сами знаете, как мы живем... У нас такие дома не строят даже буржуи. Я был в Ленинградском порту в 1930 году. Тогда был прорыв. Я помню, как тысячи ленинградских рабочих пришли помогать. Это было незабываемое зрелище. Они быстро разобрались, что такое пропс, баланс и стандарт... Теперь, спустя два года, я увидел, как здорово они двинули дело с торговым портом и со всем городом.

И Лео Шлатер, коммунист, огласил немного статистики, чтобы ярче оттенить свои мысли. Он был краток, не желая утомлять своих слушателей.

— Вы должны знать, товарищи, — сказал он, — что советское правительство отпустило огромную сумму на перестройку Ленинграда. На каждого рабочего в трудовых районах выходит в среднем от 100 до 250 рублей... Больше ничего я сюда не добавлю.

Этот рассказ Шлатера запечатлен на страницах гамбургской портовой коммунистической газеты, чтобы его прочитали все рабочие Гамбурга. Все же, нарушая обещание, Лео Шлатер добавил еще несколько слов:

— В ленинградском порту сооружается памятник-маяк Ленину... Мы должны собрать, сколько можем...

И вот уже со всех концов мира, из всех городов Союза, собираются средства для постройки гигантского памятника.

Этот маяк будет посылать свои огневые стрелы на многие километры. У подножия его порт будет лежать, как игрушка. Великий город раскинется под ним, видимый от края до края.

Отсюда, от этого города, произошло многое...

ЧИТАТЕЛИ „БОРЬБЫ МИРОВ“

**П Р И Н Я Л И   В Ы З О В**

ЧИТАТЕЛЕЙ „ВОКРУГ СВЕТА“

**КАЖДЫЙ** ИЗ НИХ

ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧАСТНИКОМ  
В СОЗДАНИИ САМОЛЕТА

**„ВОКРУГ СВЕТА“**

В Н О С И Т Е   Д Е Н Ъ Г И  
В Л Ю Б О Е   О Т Д Е Л Е Н И Е  
С Б Е Р К А С С Ы   С .   С .   С .   Р .  
Д Л Я   П Е Р Е В О Д А   П О   А Д Р Е С У :

Ленинград. Проспект 25 Октября 3, сберкасса № 33  
Текущий счет № 5171, в фонд постройки самолета

**„ В   О   К   Р   У   Г   С   В   Е   Т   А ”**

# БЕЗРАБОТИЦА

1

Дама вертелась в открытой клетке, составленной из трех трюмо. Закройщик отошел в сторону, и дама видела только свое отражение. Дама вертелась в зеркальной клетке.

За портерой в примерочной комнате приютился Микель Провера. Он бы сутул, как все портные, — таков закон иголки: голова — вниз, спина — торчком, а плечи заострены и свернуты внутрь, точно человек жмется от боли.

Микель заглядывал в примерочную из-за портьеры. Переделка была настолько ничтожна, что вряд ли он получит за нее на обед. Ему было тяжело смотреть на эту шелковую шубку. Какое дьявола его учили шить изящные дамские вещи. Если бы он умел строчить без наметки штаны для крестьян... Впрочем брючки с рынка также шатаются по улице, ища окурки. Портновский сезон в Фиуме прошел этой осенью без признаков жизни, пустой, — работа и не начиналась.

— Микель, — сказал закройщик. Микель отскочил к двери мастерской. — Микель, нужно переставить пуговицы. Шуба сидит на ней как вылитая. Ты снесешь ее по адресу и там наверно получишь на чай. Я не хочу, чтобы рассыльный мыл эту шубу.

Микель ничего не ответил. В мастерской конфекциона стояли машины, стояли холодные утюги: верстаки были начисто убраны, все молчало. Микель тоже молчал. Можно проклинать закройщика и ненавидеть мир, и заплевать кровью этот проклятый город, но все это не имело никакого смысла. Микель ушел, не переставив пуговиц.

На улице не было больше пожелтевших листьев. Река зябла от холода. Микель поднял воротник пиджака и направился домой. Обед, квартирная плата, развалившиеся летние туфли и бастующая жена, которую разыскивает аген- тура, — все это тянуло обратно к закройщику. «На чай...»

— Чорт! — выругался Микель. — Я начинаю завидовать даме, которой понесу шелковую шубу. Пусть у нее угреватое лицо и золотые зубы, — это лучше, чем иметь здоровые челюсти, скукающие от безделья.

Не доходя до дома, Микель спустился в маленькую полуподвальную пекарню.

— Вы не дадите мне больше хлеба в кредит, я знаю. Дайте мне какую-нибудь работу, — он стремительно засучил рукава. — Смотрите, у меня крепкие мускулы. Я могу таскать тяжести. Хотите я вымою пол, он очень грязный у вас.

Он выскочил из хлебопекарни, прежде чем его вытолкнули.

2

У Микеля не было прошлого. Будущее заманчиво развевалось на Востоке, далеко за Фиуме, за Италией. Там можно получить работу и не бояться агентуры. Там нет старухи Кнаппо с квартирой в три комнаты, где живут пятнадцать человек. У Кнаппо косил один глаз, на другом сидело бельмо, но это не мешало ей определять жильцов. Она подбирала их по категориям: первая категория — это жилец, который хочет иметь чистую постель на койке. Такие жильцы помещались в большой комнате: они платили прилично и аккуратно, в срок. В утренние часы им все остальные уступали уборную и раковину. За ними шла вторая категория — жильцы, которые спали на полу или на стульях в маленькой комнате. Последней категорией были Микель и его жена Орестина. Они находились на кухне, без права включать лампочку. В третьей комнате спала сама Кнаппо. Туда никто не смел входить. Старуха была в этом мире одинока, она жила со своим запертым сундуком, жадная и недоверчивая. С середины месяца она начинала поглядывать на своих жильцов, напоминая этим о неизбежной плате. Для каждого жильца у нее был специально приготовленный взгляд: он мог выразить просьбу, напоминание, угрозу; он мог даже умолять, и некоторые жильцы пользовались таким уважением. Но когда наступало первое число, взгляды прекращались. Из третьей комнаты слышался голос Кнаппо; она называла по очереди фамилии должников и прибавляла:

— Плати за место, или я пошлю тебя искать дьявола! У тебя нет паспорта! Бродяга!

И если должник не заплатил до второго числа, то его вещи уносились в третью комнату. Хорошая одежда шла в сундук старухи до окончательной расплаты.

3

Микель проснулся от холода. В кухне еще было темно, но кто-то уже возился в уборной: вода спускалась с шумом. Микель приподнял пальто.

— Орестина! Сейчас уборная пуста. Тебе не нужно?..

Орестина высунула заспанное лицо; неподвижные сонные глаза уставились на мужа.

— Орестина, — повторил Микель, — если тебе не нужно в уборную, давай тогда поговорим.

Орестина зарылась обратно головой под одеяло, она была медовольна, что ее разбудили.

— Орестина, нужно поговорить. Забастовка окончилась. Работы нет и не будет в этом сезоне. А если появится какая-нибудь вещь, то мы с тобой не получим ее.

— Тебе что-нибудь приснилось? Я не понимаю, что ты хочешь сказать?

— Я вчера поспорил с закройщиком...

Орестина повернулась к нему лицом.

— С закройщиком? Это напрасно. Этого не нужно было делать сейчас.

— Все равно, Орестина, работы в этом сезоне не будет. Нам нужно уехать отсюда, пока тебя не разыскала агентура. Мне надоело прятаться и голодать, Орестина. — Он убрал нависшую над глазами прядь волос. — Послушай, Орестина, у меня есть хороший план, у меня есть два плана. Я могу взять свою скрипку и выйти на улицу; в настоящее время это не позор. Можно стать у стены, положить у ног шляпу и наигрывать очень веселые вещи или очень трогательные, я кое-что сумею сыграть на скрипке.

— Ну, и что же?

— Для этого нужны деньги: у скрипки не хватает двух струн. Как ты думаешь, Орестина?

— Я не хочу думать, Микель. Какой у тебя план еще?

— Тот более интересный. Я хочу съездить в Клан, Чикинни наверное вернулся из Центра. Мы тогда уедем из Италии совсем, — Микель проиграл голос, — в Союз Советов.

— Езжай в Клан.

— Для этого опять нужны деньги. Тридцать километров мне не дойти пешком...

— Микель, зачем ты разбудил меня, осел? Тебе нужно много денег? Оставь меня в покое, я хочу спать!

#### 4

С Кнаппо можно говорить на любую тему, даже на тему о смысле существования бога на небе, а не на земле. Она внимательно выслушивала своего собеседника, давая договорить до конца. Потом, когда тот заканчивал, старуха выставляла свой единственный, никогда не умирающий вопрос:

— Когда ты заплатишь за кухню? Или...

— Нет, синьора Кнаппо, я по другому поводу. Я хочу просить вас — одолжите мне мой костюм до вечера.

Старуха сверкнула косым глазом. Значение этого взгляда было понятно: он требовал немедленно удалиться. Но Микель не уходил. Над ним висели голод, жена и жизнь, которую трудно оставить в двадцать шесть лет, владеа здоровым организмом и жадной драться за право жить. Он сделал движение рукой вверх, как бы вознося свои слова:

— Синьора Кнаппо, моя просьба не очень скромна, но вы же веруете в бога...

— Уйди, сатана!

— Видит бог, у меня когда-нибудь будет много денег. Синьора Кнаппо, вы же умная квартирная хозяйка; кто, кроме вас, понимает, что мои деньги — ваши? Одолжите мне мой костюм до вечера.

Последние слова Микеля уломали квартирную хозяйку. Он заметил это по ее повороту; она повернулась без всякого выражения и ушла за дверь третьей комнаты. Микель почувство-

вал себя победителем. Через несколько минут Кнаппо принесла его костюм на кухню.

— На, дьявол! Смотри, если ты пропадешь с костюмом, я тогда познакомлю твою фурию с агентурой. Она там нужна, я знаю.

— Синьора Кнаппо, с какой же стати я пропаду с костюмом? Он к вечеру будет обратно у вас в сундуке, а у меня будет надежда расплатиться с вами. Вы только забыли мой галстук, простите.

Квартирная хозяйка вышла из кухни.

— Галстук будет, — понял Микель и принялся мыться. Он мылся осторожно, чтобы не забрызгать пол около раковины. Самое трудное было — мыть голову; нужно было уложить волосы в аккуратную прическу, — непослушные, густые волосы. Он нагнул голову к постели на полу:

— Сделай мне пробор, Орестина, только ровно на середине, как у скрипачей.

— У меня нет гребенки.

— Зачем гребенка? Пальцами.

— Пальцами! — Она неохотно поднялась, взяла в руки его сырые волосы и сразу их выпустила. Лицо ее сморщилось, дрогнули пересохшие губы. Микелю стало жаль ее. Зачем он заставил ее подняться, — она еще дежит.

— Орестина, ляг. Ты совсем ослабла. У тебя нос вырос на два сантиметра, а глаза, наоборот, ушли вглубь. Ляг, Орестина. Ты хочешь есть? Потерпи до вечера. Я сегодня принесу немного денег.

— Я не верю в твою скрипку, — ответил Орестина. — Ты плохо играешь. Это безнадежно. Ты достань кусочек хлеба... — Она прижала голову на подушку.

— Крепись, Орестина. потерпи до вечера.

— Я не верю в твою скрипку.

Он покрыл женщину старым пальто и пошел к третьей комнате. Постучался робко, нерешительно.

Дверь открылась. Квартирная хозяйка молча, выжидая навела на него косой глаз... Она никогда не заговаривает первой, пусть другие говорят; она всегда успеет высказать то, что ей нужно будет. Микель нагнул голову, как бы выражая одновременно и дружбу и уважение.

— Синьора Кнаппо, — начал он, — у вас необыкновенно легкая рука, сделайте мне пробор по середине головы.

И тут впервые за все время пребывания в этой квартире Микель увидел улыбающуюся Кнаппо. Он даже усомнился: явь ли это? Перед ним было лицо: с таким лицом не напоминают о квартирной плате. Старуха достала свою расческу и сделала ему ровный, как по линейке, пробор. И только после, когда он поклонился, желая поблагодарить ее, она остановила его.

— Не нужно мне твоей благодарности. Ты заплатишь за прическу, как в парикмахерской. Я напомню тебе при расчете.

#### 5

Он играл без обычных движений, даже не приотпывал ногой. Так, казалось ему, получается лучше, серьезней: музыкант стоит неподвижно, точно замер в своей позе, а инструмент делает свое дело. Это создает впечатление.

„Остановитесь на одну минуту...“

Он стоял на углу двух шумных улиц. В ногах у него, рядом со шляпой, стояла карточка с коротенькой надписью:

Играю на двух струнах

День был холодный и пасмурный. Микель стоял у стены, вытянувшись. Он старался держать себя гордо, не как простой нищий, это давало больше шансов на успех. Единственно, что могло ему помешать, это — высохшие губы. Но он их часто смачивал языком. Он знал, что здесь, в этом городе, перестали уважать нищих; слишком много их развелось здесь и слишком нахально пристают они к прохожим. Микель держал себя скромно. Он не просил, он только играл. В этот день он несколько раз повторял все, что умел играть. Больше всего он надеялся на оригинальность своей игры: две струны! После каждой игры он делал небольшой перерыв. В это время он осторожно приглаживал свою прическу, сначала одну, затем другую сторону. Потом он немного потирал оочевенные руки и снова принимался играть. Он играл вдумчиво, избегая фальшивых тонов. Во время игры он смотрел в одну точку, минутами совсем закрывал глаза, как бы уходя вглубь своей игры. В такие минуты перед ним всплывала мелочь в шляпе, на которую можно купить хлеб, а может быть и булочку для Орестины, и еще пару струн.

К вечеру Микель, потеряв всякую надежду собрать на хлеб, перестал играть.

— Кому здесь нужна твоя виртуозность на двух струнах? — спросил он себя. — Она никому не нужна, Микель. Ты — портной, сунь свою скрипку в чехол. — Он пожевал пустым ртом, смочил губы.

— В чехол? — повторил он, как бы спрашивая самого себя. — Если б одно пальто или один жакет сшить, мы тогда... — Он зажал в руке скрипку вместе со смычком и, согнув верхнюю часть корпуса, скрючился. Боль в животе жгла внутренности. Опершись о гранитный цоколь здания, он медленно выпрямился, прижимая рукой живот.

Сзади над его головой раздался голос трех радиорепродукторов.

„Остановитесь на одну минуту, синьоры, синьорини, синьориты! Вы утомлены, вы так устали

за день, все мы, наконец, имеем право на отдых. Зайдите в кафэ „Корсо“. Вы там отдохнете душой и телом. Уважаемые синьоры, остановитесь на одну минуту...“

— Проклятье! — вспыхнул Микель. — Мне нужен кусочек хлеба, маленький кусочек хлеба. Я не хочу, чтобы Орестина умерла с голода.

Он вдруг, словно опомнившись, кинулся на прохожего:

— Синьор, купите скрипку. На хлеб. Кусочек хлеба...

Прохожий не оглянулся. Микель подошел обратно к стене и снова начал играть. Движения его руки становились резкими, порывистыми, как будто он собирался разорвать скрипку: он сам уже не замечал, играет ли он что-нибудь или просто тренькает смычком. Ему захотелось спеть под скрипку что-то громкое, проклинающее, но посиневшие губы испускали тихий, отчаянный писк:

— Маленький кусочек хлеба...

Он не чувствовал, как скрипка выпала из его рук. Рот раскрылся в тяжелой гримасе. Дыхание прекратилось. Жесткая длительная судорога сдавила его железом. От боли выступили слезы. Он согнулся под прямым углом, ухватившись обеими руками за живот. Панель повернулась ребром вниз и ударила его одновременно в живот и в лицо...

И уже совсем заглушенно, как сквозь вату, доносился голос трех радиорепродукторов:

„Остановитесь на одну минуту...“



Скрипка

выпала

из его рук.

# О ЧЕМ

Лев Руб

Рисунок

Александра

Бесперстова





# ПОЮТ ДЕТИ

У подъезда венской оперы долгое время стояла двенадцатилетняя девочка. Своим обаятельным голоском она привлекала толпы народа. Дирекция театра неоднократно прогоняла ее и даже жаловалась полиции, что она сильно конкурирует с оперой. Полиция ссылаясь на закон, третий параграф которого гласит, что не следует препятствовать детям и актерам. Известно, что в Вене каждый третий актер безработный и занимается нищенством. Однако, как и следовало ожидать, вскоре пришлось энергично выступить хлопотливым хозяевам театра.

Рассказывают: когда пела маленькая Берта, на улице останавливалось движение. Все замедляло. Толпа напрягала слух, чтобы разобрать не только прелестную мелодию, но и слова.

Маленький мальчик спросил:

— О чем она поет, мама?

— О хлебе, сын мой, о хлебе,—ответила мать, тоже сясь уловить слова.

Берту часто вспоминают.

Мир не без добрых людей.

В Вене любят эту поговорку. Говорят, что какой-то добрый господин сжался над маленькой Бертой и увез ее в Париж. Она пела в мюзикхолле до тех пор, пока ее не сменил другой вундеркинд, глотающий на глазах у публики живых мышат. тех самых мышат, которых буржуазные дети едва знают по картинкам.

Что надо для того, чтобы быть вундеркиндом?

В Европе широко распространилось мнение, что для этого требуется немного, главное — самопожертвование, а талант найдется.

Недавно одна берлинская кинофирма получила от четырнадцатилетнего сына известного музыканта письмо: „Готов на любой смертельный трюк. Только, пожалуйста, обеспечьте моих голодных родителей и сестру“.

Дети голодают. Они не выносят кошмара капиталистической действительности. В САСШ

до шести миллионов школьников ежедневно приходят на занятия с пустыми желудками. В одном Нью-Йорке ежедневно регистрируется до двенадцати самоубийств детского возраста. В Германии на почве голода — сотни самоубийств. В одном Берлине ежедневно на школьных занятиях бывает до пятнадцати случаев обморока. В Париже ежедневно сто школьных парт совершенно свободны.

Кажется, Ромэн Роллан сказал, что дети в Европе живут только одной надеждой. Больше у них ничего нет.

На днях в берлинских газетах можно было прочитать такое объявление: „Ищут вундеркиндов для серьезного мирового турне. Прием от десяти часов утра“.

Можно себе представить, с каким трепетом детские ручонки держали газету с этим объявлением.

Вот как описывают газеты прием гениев:

„С утра на лестнице дома, указанного в объявлении, выстроилась огромная очередь. Мамаши и папаши и много-много детей. Мальчики и девочки с теннисными ракетками, ружьями в чехлах, виолончелями, скрипками и т. д.“

„Ровно в десять часов швейцар открыл двери квартиры импрессарио. Высокий господин произнес небольшую речь. Он изложил перед малолетними гениями все свои требования. За два часа прошло сорок вундеркиндов. Спирок был закрыт. Сотни отброшены. Начинается отсортировка сорока детей. Наконец таланты выбраны: восьмилетний мальчик, говорящий и поющий на двадцати четырех языках, и четырнадцатилетняя девочка, играющая на четырнадцати инструментах. Затем импрессарио вступает в долгий торг с родителями. Ангажемент на год. Плата нищенская. Импрессарио неумолим. Надо покориться, — ведь вундеркиндов так много!“

Спросит ли кто-нибудь в зале мюзикхолла или варьете:

— О чем поют эти дети?

Влад. Дмитриевский  
С. Майзель



Досужий журналист, совершающий прогулку по Европе и на несколько дней заехавший в Париж, не преминет истратить много бумаги, много чернил и много пыла на восторженные очерки, а может быть и нежные лирические новеллы, посвященные этому городу веселья и радости.

Задумчивый плеск Сены будет сочетаться в этих очерках с гудением Эйфелевой башни, триста метров которой куплены господами Ситройеном и Коти для сугубо-утилитарных целей.

Лиричность парижских бульваров, ставшая почти исторической, как традиция, вошедшая в мировую литературу, нераздельная с образом продавщицы фиалок, с табунами бульвардье, с причудами все покупающих туристов, будет переплетаться с бешеной пляской рекламных огней, с многосуставной гусеницей воющих и фыркающих автомобилей, с голубой формой полицейских манекенов господина Кьяппа.

В очерках несомненно будет отдано должное достопримечательностям Лувра и бутафорским притонам Мониартра, ныне произведенным в „театры ужасов“ для богатых американских дядюшек.

Апофеоз своего восторга журналист поровну разделит между совершенным мрамором Венеры Милосской и „дикой“ пляской апашествующего актера, между Пантеоном и неугасимым огнем, тлеющим на могиле „неизвестного“ солдата на Плас д'Этуаль.

Но не только по этим очеркам знаком нам Париж. И не только городом разрушенной Бастилии, городом Робеспьера, Марата, Бабефа, крепостью Парижской коммуны, местом обгаренных кровью великих могил на кладбище Пер-Лашез был и есть Париж.

О Париже пишут как о центре страны, претендующей на гегемонию в Европе. Он становится берлогой самого жадного из жадных

зверей, берлогой неистовствующего французского империализма. Тонкая сеть международных интриг и провокаций соединяется в столице „веселья“ невидимым узлом. Золото из колоний, золото побежденной Германии, золото должников ползет по каналам и оседает в подвалах парижских банков.

В Париже умер „тигр“ Клемансо, там еще живет его достойный ученик господин Тарлье, прозванный гиеной, старый адвокат Пуанкаре продолжает мечтать о войне, а адвокат Аристид Бриан, мечтавший о войне, сладко говорить о мире. Министры, на ряду с политическими комбинациями, занимаются там обыкновенным мошенничеством, а десятки бульварных газеток с одинаковым удовольствием радуют публику женщиной-уникой, родившей двухголового козленка, и очередным переворотом в Москве, внезапно захваченной сибирскими войсками, прилетевшими на аэрпланах.

Есть еще другие очерки, новеллы и статьи, которые срывают вуаль розовых химер и рассказывают о совсем ином, новом Париже, жизнь которого досужий журналист не захочет, да и не сумеет разглядеть, пожалуй, и через увеличительное стекло.

Приоткрывается дверь маленького рабочего кафе на улице Фоли-Мерикур. Показывается голова человека. Он робко спрашивает:

— Не желаете ли вы купить непромокаемое пальто?

Трое посетителей, стоявших у буфетной тройки, оглядываются. Никто из них, однако, не жаждет приобрести непромокаемое пальто.

Обведя быстрым взглядом комнату, продавец закрыл за собой дверь, не промолвив ни слова. Мы видели через окно его худую фигуру, одетую в старый пиджак с поднятым воротником. Было холодное утро.

— Здорово! — сказал один из посетителей, — продавать свое пальто в такое время.

Хозяин кафе охотно объясняет:

— Это уже второй сегодня, — безработные...

Посетители-рабочие кивают головой.

— Сколько горя приносит эта зима!

„Юманите“ публикует живые очерки, рассказывающие о „безработных“ парижанах, ставших безработными:

### „Печальная Одиссея“

Отчаянная нищета безработных, заставляющая сотни людей, — число их все растет, — лишиться сейчас, на пороге зimy, своих скромных пожитков, своей теплой одежды. Каждый день доставляет нам новые примеры.

Это было в другом конце Парижа — Плас д'Итали. Скамьи центрального сквера были заняты рабочими, руки которых, создавшие огромные прибыли, больше не находили себе приения. Рядом с ними, на скамье, сидел человек в потертом пиджаке, читая старый журнал.

— Ну что, старик, ты ищешь места?

— О, нет! Эти объявления ничего не дадут. Но нужно же как-нибудь время провести...

— Ты давно без работы?

— Полтора месяца. Последним местом моей работы была фабрика штор на Гранш-о-Белль... Я получал шесть франков в час. И вот в один прекрасный день, если его можно так назвать, хозяин объявил себя банкротом... Нас всех рассчитали. И самое худшее — это то, что за последнюю проработанную неделю нам ничего не заплатили.

— Ну, и с тех пор ты на улице? Тебе оказывают помощь?

— Да, но это не так легко дается. Вот, представьте себе, я занимал раньше комнату в гостинице. Будучи уволен, я переменил квартиру, слишком для меня дорогую. Обратившись затем в свою мэрию за помощью, я получил ответ, что в связи с переменой местожительства мне следует обратиться в другую мэрию. Таким образом прошла целая неделя...

— И как ты живешь сейчас?

— Вот как: я ищу места — и все безнадежно. Я работал в рынке, получая пять-шесть франков в день, но полицейские не давали мне покоя. И вот наступил день, когда у меня не оказалось ни одного су. Моя комната больше никем не оплачивалась. Я все разбазарил: белье, платье, некоторые инструменты, чемодан — больше у меня нет никаких забот! Так поступают ведь и все остальные. Я должен был, наконец, оставить свою комнату. Теперь я ночую в ночлежке... Вот, как вы видите, — заключает мой собеседник, — я уже пятнадцать дней не ем горячей пищи.

Его худая, изможденная фигура и без слов говорит о длительном недоедании, об испытанных мучениях. Это и есть одиссея нищеты, предоставляемая буржуазией тысячам пролетариев, изгнанных из заводов, выселенных из квартир, бесприютных. Слова „на улице“ находят здесь свое самое верное выражение.

### У Армии спасения

Мы там видели многих... На улице Шаброль, 33 — расположена ночлежка. За маленькой дверью маленький коридор ведет в „палаты для отдыха“, где за сорок су можно получить вшивую постель. Два франка, помноженные на триста мест, недурно выражают „филантропию“ Армии спасения, снижающую себестоимость на своих предприятиях.

Половина пятого. Длинный коридор полон безработных, ожидающих звонка. Открывают в пять.

Передо мной один из еще „хорошо“ одетых, монтер. Рядом другой человек улицы, ежечасно посасывающий кусок хлеба, находящийся у него за пазухой. Это чернорабочий.

Несколько поодаль в глубине — завсегдатаи ночлежки, среди которых находятся еще жертвы предыдущих кризисов. Но большинство порождено кризисом настоящим. Все бесприютные. Они уже всюду перебивались. Теперь они пришли сюда. Одежда грязная, но у многих еще сохранились последние остатки „старых времен“ — воротник и галстук, прикрывающие драную рубашку. Головные уборы помяты, сапоги изношены, платье без пуговиц.

— Когда я вынужден был уйти из старого курятника, — рассказывает один, — я первую ночь провел в сарае, расположенном позади восточного вокзала. Там было пятнадцать таких, как я. Около четырех часов утра явились полицейские, вооруженные дубинками и выгнали нас оттуда...

— На Восточном вокзале, — продолжает другой, — ты не успеешь даже посмотреть расписание, как за тобою начинается охота...

Всем есть что рассказать.

Приходит еще один. На голове у него берет. Через плечо пояс, поддерживающий сумку. Вид усталый, — он стоит, опираясь о стенку.

— Со вчерашнего вечера, — еле внятно произносит он, — я ничего не брал в рот, кроме глотка воды... Я обошел весь Париж, был на всех набережных: ничего! И вот теперь пришел сюда.

— Ты не парижанин?

— Парижанин. Я был чистильщиком карет. Будучи уволенным, я пошел искать работу в Бэос. И там дела хватило не надолго, — мне

пришлось вернуться. Последние су ушли на дорогу.

Наконец звонок. Со свертками — багажом в руках, безработные врываюся в мрачный корридор. Приходят в е новые, разглядывают объявление у входа, — это, очевидно, новички. Вдоль улицы тянется длинный хвост бесприютных.

Деревня Франции не представляет радующего исключения. Безработица свирепствует там точно так же, как и в промышленных центрах страны. Повышенный урожай этого года в сравнении с предыдущим идет на пользу только помещикам и кулакам. Бедные крестьяне разоряются. Неимоверны страдания, переносимые сельскохозяйственными рабочими департаментов севера. Прежняя зарплата снижена во многих местах до тысячи франков. Но еще счастливы те сельскохозяйственные рабочие, для которых работа нашлась.

В деревнях Шартра, Вова, Бонваля, Анно, Питавье, Мадерба, Орлеана и т. д. слоняются без дела многие тысячи безработных сельскохозяйственных рабочих. Основную массу этих безработных составляют иммигранты, еще только недавно завербованные. Вопреки всему — вербовка еще продолжается.

Как правило, деревенские безработные не получают никакой помощи (иммигранты и коренные французы находятся в данном случае в одних условиях). Закон гласит, что помощь может быть оказана только в тех пунктах, где имеется не меньше пяти тысяч жителей.

Как живут эти люди? Вот что они рассказывают:

— Уже почти пять дней, как я ничего не ел, — говорит один из них. — Сегодня, после представления всех бумаг и получения в полиции удостоверения, я могу перекусить в столовой „Барон“. Я имею еще возможность там один раз поужинать и провести ночь. А затем...

Безработные сельскохозяйственные рабочие понемногу включаются в общий фронт пролетарской борьбы. Они проводят демонстрации и избирают свои комитеты. Боевая решимость их не будет сломлена напором помещиков и полиции.

Как бы издеваясь над статистическими выкладками буржуазных экономистов, с иностранными комментариями утверждающих, что безработица во Франции совсем не катастрофична, что она „зло меньшее, нежели в других европейских странах“, экономический кризис отнимает хлеб, раздевает и выбрасывает из квартир новые тысячи пролетариев.

Определить точное количество безработных во Франции невозможно, так как отсутствует официальная статистика. Однако согласно подсчетам, произведенным на основе данных инспекции труда, следует считать, что число безработных на 1 ноября 1931 года составляло одну девятую всего рабочего класса. Если же численность рабочего класса равна одиннадцати миллионам, то окажется, что не менее миллиона двухсот тысяч французских рабочих ныне без работы.

УКРАДЕННЫЙ МИР — С. МАРВИЧ

ТРЕВОГА! ГАЗЫ ИДУТ — Н. БАСКАКОВ

ШКОЛА — Л. РАДИЩЕВ

МИСТЕР ВИЛЬСОН — Д. ДОС-ПАССОС

КРАТКАЯ ПОВЕСТЬ О ВОЕНКОМЕ

ЕГОРОВЕ — М. БРАММ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

**ЧИТАЙ**

**В ЖУРНАЛЕ  
„БОРЬБА МИРОВ“**

**№ 8—9**

# Встреча с друзьями

## А. СТЕНБОК-ФЕРМОР

Сын прибалтийского помещика, бывший граф, бывший доброволец белогвардейской армии, Александр Стенбок-Фермор перешел в ряды революционного германского пролетариата. Мы знаем еще несколько аналогичных примеров. Всем известен поступок лейтенанта Шерингера и группы офицеров, вчерашних фашистов, заявивших о сдвоях полной солидарности с компартией и отправившихся за это в тюрьму.

У нас нет пока оснований подвергать сомнению искренность бывшего графа и бывшего фашиста; но только дальнейшее, только их непосредственное участие в боях германского пролетариата с капитализмом, только тяжелая в условиях капиталистического государства революционная работа коммуниста покажут, руководила ли ими полная решимость идти до конца в борьбе с той системой, которой они еще недавно служили, или их разрыв с этой системой был лишь кратковременной, хотя и страстной ссорой между „своими людьми“.

Александр Стенбок-Фермор написал книгу о труде и быте рурских шахтеров. Он знает и этот быт и этот труд, знает на практике, потому что сам разботал шахтером. В книге Стенбок-Фермора есть немало потрясающих страниц, которые бьют капиталистическую систему из в бровь, в в глаз. Но в этой книге имеются и существенные ошибки, и на них мы должны указать читателю.

Объяснение событий, свидетелем и участником которых был Стенбок-Фермор, во многих местах грешит явным идеализмом. Он говорит, что идеалы, за которые он боролся в рядах белогвардейской армии Бермонта-Авалова, оказались „ложными“. Но какие это были идеалы? Об этом автор не говорит. Армия Бермонта-Авалова воевала за жизнь старого хозяйственного уклада Прибалтики, в котором еще крепко сохранились остатки феодализма. Сподвижники Бермонта-Авалова твердо знали, за что они получают немецкие винтовки и английское обмундирование. Тут не могло быть никаких секретов, никакой завуалированности искреннего смысла этой авантюры.

Автор убедился в том, что порядок, который он отстаивал, оказался „безнравственным“ и следовательно не имеющим права на существование. Здесь Стенбок-Фермор пытался исходить из каких-то общезначимых предпосылок. Но такой „общей этики“ в природе нет. Каждый этический подход есть всегда результат классового сознания человека. То, что безнравственно с точки зрения революционера-пролетария, вполне уместно на взгляд защитника капиталистической системы — и обратно.

Идеалистический груз ведет Стенбок-Фермора к еще более грубым ошибкам. Он пишет, что в эпоху французской революции буржуазная демократия противостояла умирающему феодализму. Здесь Стенбок-Фермор принимает частное за общее. Не буржуазная демократия противостояла феодализму, а молодая экономическая система. Буржуазия вела борьбу с отжившим хозяйственным укладом феодализма. И теперь не с отжившей буржуазной демократией ведет борьбу революционный пролетариат, а с монополистическим капиталом, у которого эта „демократия“ состоит на службе.

Коль скоро Стенбок Фермор принимает частное за общее, это ведет его и к другим ошибкам.

Что позволяет еще держаться отжившей системе капитализма?

На этот вопрос Стенбок-Фермор не колеблясь отвечает — демократическая агитация капиталистов.

Конечно, эта агитация, затушевывающая истинные черты современного капитализма, чему-то служит, но не на ней держится система. Система держится на аппарате своего классового государства, ленинское определение которого Стенбок-Фермору, очевидно, неизвестно.

Ошибка у Стенбок-Фермора много, в том числе и крупных. Но в целом его книга — яркое свидетельство идейного развала капиталистического лагеря. Этим она и ценна.

В Галле я сажусь на мотоцикл и еду через Эрфурт, Эйзенах, Кассель, Падерборн в — Рур. Два дня я в дороге, ночую в Касселе. К концу второго дня, под вечер, проезжаю Дортмунд. Стоят холодные осенние дни. Неожиданные короткие ливни и град. Холодный ветер швыряет в лицо ледяшки. Я с трудом открываю глаза. Мотор грохочет подо мной. Шины скользят по мокрым мостовым.

Я проезжаю города Рурского бассейна Бохум, Эссен, Мюльгейм. Не замечаю, когда кон-

чается один город и начинается другой. Кажется, что все они слились в один огромный промышленный город, в сплошное предместье, которое тянется вдоль длинного шоссе. Высокие железнодорожные насыпи, низкие бараки, казарменные дома, мусорные кучи, убогие садики, детские площадки, строящиеся корпуса. Темно. Небо то багровеет от пламени домен, то опять чернеет. Красные отсветы играют на исполинской сети железнодорожных путей. Зеленые, красные фонари семафоров, надшахтные соору-



жения, фабричные трубы, железодельные заводы, рефрижераторы, прокатные заводы, машинные здания. Темные руки передвижных кранов возносятся к небу. В воздухе протянуты провода подвесной дороги, по которым скользят вагонетки. Стук моей машины сливается с гудением и грохотом заводов.

Караваны грузовиков тянутся навстречу. Пржекторы слепят меня. Я то-и-дело останавливаюсь, соскакиваю, пропускаю грузовики.

Поздно вечером добираюсь до Дуисбурга измученный, вялый, ставлю мотоцикл в гараже, беру номер в гостинице. Сил хватает только на то, чтобы скинуть верхнее платье. Валиюсь на кровать и сейчас же засыпаю.

Отдохнув, еду на следующий день трамваем в Мейдерих и Гамборн. Большие года, с ноября 1922 по декабрь 1923 года, я тут работал шахтером-откатчиком в шахте № 4 на Тиссенских рудниках. Семь лет, как я потерял из виду старых моих товарищей. Я даже не знаю, живы ли они, — Генрих, Франц, Мартин и другие. Фамилии их я давно позабыл, адресов не знал, только лица старых товарищей живут в моей памяти. Может быть они умерли, может быть их засыпало, исколечило.

Только один адрес у меня записан — адрес штейгера Бухгера, с которым я когда-то был близок. Я отыскиваю его в Мейдерихе. Радостная встреча. Он постарел, в острой белокурой бороде появились седые нити. Мы беседуем в его уютной маленькой квартирке. Он сразу же начинает говорить о моей книге „Моя жизнь горяняка“.

— Мы ее тут все читали. Начальники цехов, инженеры, штейгеры и, разумеется, ваши товарищи.

— Скажите откровенно, господин Бухгер, я правильно обрисовал положение вещей?

— Совершенно правильно, господин Стенбок. Это мы все нашли. Конечно есть кое-какие технические ошибки, но это не важно. Но положение вещей с тех пор сильно изменилось к худшему.

— Еще хуже стало, чем раньше?

— Я вам прямо скажу: тогда было просто золотое время по сравнению с нынешним. Зарплата, правда, повысилась. Деньги не текут между пальцев, как во времена инфляции. Но вот теперь предстоит снижение, и вы наверно слышали о новых планах предпринимателей. Но даже не в этом дело. Я говорю об условиях работы. Вот где становится все хуже и хуже. Рабочее время удлинено, все время работаем сверхурочно, требуют от нас гораздо больше, чем раньше. Дико гонят, выжимают все, что возможно, обращаются грубо. Слово мы не люди, а скоты! Да и скот-то, пожалуй, еще холят и кормят, скот — это ценность. А с нами, что хотят, то и делают. Рабочие ненавидят нас потому, что мы их подстегиваем. А мы должны подстегивать, это наш „долг“, а если это нам не по нраву — локорнейше прошу, мы вас не задерживаем, на ваше место — тысячи безработных кандидатов“.

„А количество несчастных случаев все растет и растет. Взрывы, обвалы, ушибы, контузии. Вы ведь все это по собственному опыту знаете. Почти всегда причиной — дикая гонка. Врубщик получает только за уголь. Меры предосторожности, подпоры в штреке и т. п., все это — его личное дело, на это не отпускается

ни одного пфеннига. Вот они никакие меря не предприниматели, чтобы не снижать себе заработка. А там — катастрофа за катастрофой. Да вы вот сами пишите в вашей книге о „выродившейся системе“, о „жестокости и беспощадной эксплуатации, не считающейся с человеческой жизнью“. Это нисколько не преувеличено.

„Только что опубликовали статистику несчастных случаев. Только у нас, в Руре, с конца войны погибло десять тысяч шахтеров и изувечено семьсот тысяч. Я прочел еще кое-какие статистические данные. С 1886 по 1915 год по всем горным промыслам Германии погибло сорок тысяч человек и изувечено свыше двух миллионов. За последние двенадцать лет по всем горным промыслам погибло двадцать пять тысяч. Я читал в „Германии“ Макса Бартеля: если выставить в ряд эти двадцать пять тысяч гробов, то понадобится десять часов, чтобы обойти их по фронту. Или, если поставить гробы на катафалки, то образуется похоронная процессия убитых рабочих от Эссена через всю Вестфалию до Ганновера“.

Я спрашиваю о моих старых товарищах. Бухгер ничего не может мне сообщить, я помню ни одной фамилии.

— Пожалуй, лучше всего будет, если вы станете к концу смены у выхода шахты четвертой. Там вы найдете ваших товарищей.

Я пожимаю штейгеру руку и отправляюсь в Гамборн. Иду по узкой тропинке, через железнодорожную насыпь. Вижу под собой грандиозную панораму доменных печей, труб, возникающих из серой пелены, и вспоминаю, что 15 ноября 1922 года впервые перелезая через насыпь, с бьющимся сердцем, окваченный страхом перед грядущим.

Старые бараки для холостяков, в одном из которых я жил, снесены. Теперь на их месте стоят серые каменные дома. И вот я у шахты четвертой. Новая большая башня возвышается над старой башней четвертой. Шахта теперь называется четвертой и восьмой.

Я останавливаюсь у выхода шахты, у сторожки. Шахтеры вешают тут на гвоздь свои контрольные жетоны.

Вот они появляются. Они идут точно так же, как шел я каждый день в течение года: опустив усталые плечи, огромихивая жестянками, висящими на спине, волоча ноги, с задавшими желтыми щеками, с черными кругами под глазами от напряженной работы и угольной пылью, которой никак не смыть. Я вглядываюсь в лица. Хотя бы одно знакомое!

Ага! Франц! Да, это он, мой старый товарищ по работе, Франц, с которым я целый год бок-о-бок тянул ямку. Вот он плетется, длинный, худой, такой же, как был. На худощавом лице — кустики рыжей бороды. На нем черная шахтерская шерстяная фуфайка, помышкой у него сверток с грязным белым сегодня суббота. Я подожгу к нему, хлопну его по плечу: „Франц!“

Он поднимает брови, удивленно смотрит на меня, вынимает трубку из рта, бормочет: „Алек, дружище!“ Он хватает меня за руки.

— Ну, Франц, узнаешь меня?

— Алек! Ах, чорт возьми, будь ты проклят! Ты здесь? Постой, когда же это ты тут был в последний раз? Четыре, пять, шесть, семь лет с тех пор прошло. Семь лет, чорт возьми, порядочно! Навестить друзей приехал?

Мы вместе идем в Гамборн.

— Ну, как вам тут живется, Франц?

— Да все хуже и хуже с каждым днем, Алекс! Когда ты тут работал, это было сплошное удовольствие. Помнишь, какие мы дискуссии в шахте разводили перед подъемом? Теперь попробуй-ка, открой внизу рот,—через минуту можешь итти в контору за расчетом. Алекс, ты себе представить не можешь, какое пошло мучительство и издевательство. Предприниматели, что хотят, то и делают. Ей-богу, при Вильгельме, пожалуй, лучше было. А если тебе на работе угодит камнем по черепу, так, что ты моги протянешь—тоже не велика беда. Они на это плевать хотят. На место каждого подошедшего найдутся тысячи новых, только выбирай. Ведь их шесть миллионов, безработных! Я не преувеличиваю, Алекс, так, как нас теперь эксплуатировали, нас никогда еще не эксплуатировали.

— Я только что был у штейгера Бухгера, он то же самое говорит. А еще говорят: то, что написано в моей книге, теперь уже невозможно.

— Да, твоя книга! Она у нас на руках ходила. Почти все ее прочли. Здорово это ты написал. Все туда попали — Генрих, Мартин, Якоб, Вильгельм, я.

— Да, Генрих! Что с ним, Франц? Он жив?

— А как же! Он теперь работает по починке шоссе в Мейдерихе. Повыше забрался. Он теперь — десятник. Ему теперь лучше живется. Тогда—после большого локаута—он не захотел оставаться на руднике.

— Он остался верен пролетариату?

— Конечно! Генрих не из тех, что предадут рабочий класс, как только дорываются до тепленького местечка. Генрих, как был, так и остался честным коммунистом. Солоно ему пришлось. Сначала он работал простым рабочим. Парень он толковый, его и решили назначить десятником. Вызывают его в контору, предлагают должность, и начальник, — или как там у них, — говорит: „Дорогой господин Ротгольц, мы хотим назначить вас десятником, только вам придется немножко пересмотреть наши политические убеждения, дорогой мой, с коммунизмом вы далеко не уедете“. Так ты знаешь, Алекс, что ответил Генрих? „Поцелуйте меня, — говорит, — в . . .“ Ну, начальник его, конечно, нигде не поцеловал, но через некоторое время его все-таки назначили. Ничего не поделаешь, — хороший работник!

— А Мартин?

— Мы как раз идем мимо его дома. Он теперь инвалид, получает пенсию.

Заходим к Мартину. Вон он сидит, тучный, грузный, жирный, точно свинух. Он уже несколько лет как не работает.

— Смотри-ка, Алекс! Это хорошо, что ты не забыл старых товарищей. Поганые времена, Алекс!

Мы с Францем идем дальше.

— А как у тебя дома, Франц?

— Моя старуха умерла в прошлом году. Желтый это был для меня удар! Когда столько лет живешь вместе... Теперь у меня другая женщина ведет хозяйство.

— Ты во второй раз женился?

— Куда там! Я больше не женюсь. Она меня так просто живет, за детьми присма-

тривает, за хозяйством. Хорошая, работящая баба. Живем кое-как, маемся. Работают, жру, сплю, — вот и вся наша пролетарская доля.

Мы входим в квартиру Франца на Витфельдштрассе. Франц приглашает меня к обеду. Женщина — коренастая, крепкая работница — дружелюбно здоровается со мной. В кухне уже накрыт стол. Едим гороховый суп с мясом. Франц сажает себе дочку на худые колени. Говорим без умолку, Франц рассказывает про Алекса, Алекс про Франца, в перерывах хлопаем друг друга по плечу.

Потом прощаемся, и я возвращаюсь в Мейдерих, снабженный адресом Генриха.

Звоню на Герстиштрассе. Открывает жена Генриха. Она стоит на пороге именно такая, какой сохранила ее моя память: худая, бледная, с запавшими щеками, с усталым взглядом. Она отшатывается: „Господин Штенбок!“

На диване в кухне (там же и живут) сидит Генрих. Он пополнил и стал шире. Лицо у него коричневое от работы на открытом воздухе. Усы и волосы стали короче. Только в серых глазах — прежний блеск.

Я сажусь подле него на диван. Все понятно само собой, мы снова друзья; у меня такое чувство, словно я только вчера с ним попрощался, — а между тем прошло семь лет.

Мы говорим, говорим. Вечерет. Подходит ночь. Жена Генриха подает ужин. Генрих рассказывает. Я рассказываю о моем развитии, о перестройке, о том, как я постепенно, сначала медленно, только через несколько лет, сделал выводы из моей жизни среди пролетариата, и о том, что я теперь безоговорочно стою за рабочее дело.

Поздно ночью мы расстаемся.

— Завтра вечером, Алекс, в ресторане Мюллера на Нейштрассе будет рабочее собрание. Один товарищ, долго живший в России, будет делиться впечатлениями. Потом обмен мнений. Придешь?

С радостью соглашаюсь.

На следующий день захожу за Генрихом. Трактирная зала полна. Рабочие и их жены сидят за длинными столами. Над головами вьется синий дым труб и папирос. Я сижу рядом с Генрихом. Вижу множество знакомых лиц. Вон с тем я крепил деревом штрек. А вон тот вместе со мной возил тележку. Вот этот старик-завойщик научил меня работать на откатке. А этот стоял у ворота шахтного подъемника, когда мы с Францем проходили штрек. А вон там в углу сидит длиннорукий Вильгельм, анархист.

Председатель, широкоплечий рабочий с грядой светлых волос, предоставляет оратору слово. Поднимается молодой, бледный рабочий в синем.

Он — незажженный оратор, говорит запинаясь, с трудом сколачивая фразы. Тем не менее ему сразу удается привлечь к себе внимание.

Он рассказывает о быте русских рабочих, о продолжительности рабочего времени, об отпусках, о зарплате, о ценах на продукты. Аудитория узнает о квартирном вопросе, о социальном страховании, о санаториях, яслях, воспитании детей, женском равноправии, культурных организациях.

Он говорит о гигантском пятилетнем плане, перестраивающем общество на новых мате-

риальных, экономических, духовных и социальных основах. Пятилетний план учитывает каждый камень новостроек на всем протяжении громадной страны от польской границы до Владивостока, от Архангельска на Белом море до южной окраины Кавказа. Сельское хозяйство индустриализируется невиданными темпами, единоличные хозяйства растворяются в культурном коллективном хозяйстве. Рождаются новые фабрики и заводы. Бурно растет социалистическая тяжелая промышленность. Производственные показатели за первый квартал текущего года вдвое превысили показатели 1927 года. Кривая народного богатства из года в год поднимается.

Оратор говорит о неслыханных трудностях социалистического строительства, окруженного враждебным капиталистическим миром. К этому надо прибавить еще вредительскую деятельность, оплачиваемую иностранным капиталом. Помех много—и внутренних и внешних. Классовый враг тоже еще не добит окончательно. Но беспримерны готовность к жертвам и пламенный энтузиазм пролетарских масс России, создающих в условиях жесточайших лишений свое государство. В России каждый знает, за что он борется, каждый видит перед собой великую цель, для каждой жизни приобрела новый смысл.

Речь молодого рабочего встречают бурными рукоплесканиями. Разгорается оживленная дискуссия, оратор отвечает на вопросы. Потом поднимается молодая женщина и говорит:

— Товарищ рассказал нам много интересного про Россию. Но он указал также и на то, что русским рабочим живется еще очень плохо. Я хочу спросить: не живут ли немецкие рабочие в общем лучше, чем их русские товарищи? И если произойдет революция, то скоро ли изменится к лучшему жизнь трудящихся?

Генрих тотчас же просит слова.

— Вопросы, товарищи, не продуманы. Они показывают, что товарищ мало знаком с основами рабочего движения. Неоспоримо, что русские товарищи зарабатывают сегодня в среднем меньше, чем часть наших рабочих. Но всем вам известно, что у нас насчитывается до шести миллионов безработных и что в настоящее время снижается зарплата. Положение таково: в России — хозяйственный подъем, рост продукции во всех отраслях народного хозяйства. Тем самым — медленное улучшение материального положения трудящихся и медленное повышение зарплаты. Если сегодня материальное положение русского рабочего хуже нашего, то завтра и послезавтра оно будет лучше. У нас же — как раз наоборот. Экономический кризис, снижение зарплаты, чудовищный рост безработицы, неизменное ухудшение материального положения рабочего, обострение классовых противоречий, растущий хаос. Капитализм толкает нас в пропасть.

„Но ведь дело — не только в материальном положении на сегодня, товарищи, а в том, кто за что борется. В России пролетариат работает на себя и готов на любые жертвы. Мы же работаем на наших смертельных врагов, на капиталистов.

„Мы не желаем приносить жертвы капиталистическому государству. Мы ненавидим капиталистическую систему. Мы смыкаем наши ряды и до последнего издыхания боремся с экспло-

таторским строем и с буржуазией, отстаивающей преступную капиталистическую систему. У нас нет родины, именуемой Германией, мы должны создать себе свою Германию, свою пролетарскую родину. Сегодняшняя Германия — это концерн, управляемый банкирами и крупными промышленниками, и мы — их поденщики и наемные рабы.

„Товарищ спросил, улучшит ли революция тотчас же материальное положение трудящихся. Нам, сознательным коммунистам, не нужно иллюзий. Пускай ими тешатся наци, обещающие своим мелкобуржуазным приверженцам царство небесное. Мы ничего не обещаем, мы, напротив, требуем жертв. Коммунист должен безоговорочно отделиться идее, стать в рабочие ряды, подчинить личные свои интересы великому делу пролетариата и человечества. Улучшится ли положение трудящихся сразу же после революции? Нет, товарищи, оно даже наверняка сначала ухудшится. Счастье не падает с неба, бог нам не поможет, мы должны потом и кровью созидать свою новую родину.

„Но, когда мощь капиталистов будет сломлена, когда все средства производства, земля, фабрики и заводы будут в наших руках, когда под защитой диктатуры пролетариата начнется строительство социализма, то есть когда производство будет подчинено не принципу конкуренции и капиталистического обеспечения прибыли, а плановому руководству, ставящему себе целью систематическое улучшение материального и культурного быта рабочих, — тогда мы готовы на любые жертвы. Тогда мы готовы, если придется голодать, потуже затягивать кушак. Тогда мы сознательно пойдем на любые трудности. Разве мы только о нашем брюхе думаем, товарищи? Мы думаем о наших детях и о детях наших детей, мы думаем о рабочем классе!“

Генрих садится. Рабочие аплодируют. Его слова произвели большое впечатление. Выступают другие рабочие. Аргументация Генриха находит всеобщую поддержку. Да, все готово на любые жертвы ради революции и построения социализма. Все дело в конечной цели. После того как все вопросы исчерпаны, Генрих поднимается во второй раз.

— Товарищи, теперь совсем о другом. Я хочу сообщить вам кое-что. Алекс вернулся! Многие из вас его знают. Это — тот балтийский грав, который у нас работал семь лет тому назад.

Я ерзаю на стуле, мне не по себе. Все гложет на меня. Я чувствую себя центром внимания. Из задних рядов вытягивают шею. Теперь все старые товарищи по работе узнают меня. Один за другим они улыбаются и кивают мне, забойщик, минер, анархист Вильгельм Киваю в ответ.

— Сначала, товарищи, — продолжает Генрих, — я вам расскажу, как я познакомился с Алексом. В те времена, золотые времена против нынешних, мы как-то разговаривали в шахте перед подъемом. И вдруг вижу я — подле нас вертится этаким маленьким, хилым, бледным парнем шахтерский костюм никак к нему не идет. Спрашиваю, кто такой? Говорят — какой-то ру-

Кличка национал-социалистов (фашистов).

ский барон, а может шпик, подосланный хозяевами. „Надо с этим держать ухо востро“, — думаю я себе. Стоим мы так, дискусируем; вдруг паренек этот возьми да и выпали: „Все, что вы говорите, — чушь! Самое правильное — это диктатура Людендорфа“. Вы знаете, как тогда обстояли дела. Революционная волна была тогда на подъеме, и предприниматели еще не жали нас, как теперь. Надо было быть чертовски дерзким парнем, чтобы сказать нам такую штуку прямо в лицо. Но он мне понравился. Приходит человек из враждебного лагеря, один, как перст, безоружный, и прямо высказывает свои убеждения.

С той поры я подружился с Алексом. Мы вместе тянули лямку, вместе потели, и иногда он приходил ко мне на дом и мы с ним спорили ночи напролет. Захаживал ко мне еще кое-кто из анархистов и синдикалистов. Здорово мы дрались, товарищи! Алекс руками и ногами отстанвал свои буржуазные убеждения. Я диву давался, чего он только не знает в свои двадцать два года. Дрались мы с ним отчаянно, но все-таки любили друг друга. И вдруг в один прекрасный день Алекс исчез. Ни слуху о нем ни духу, покуда не вышла его книга о жизни горняков. Кое-кто из вас ее знает. Он очень честно описал все, что у нас тут было, — наш труд, стачку, локаут. Многие из вас попали в эту книгу. И все наши споры он честно описал и свою тогдашнюю буржуазную точку зрения. Скажу прямо: каждое слово в этой книге — правда.

„Больше я о нем не слышал. И вот проходит семь лет, и вчера он заявляется ко мне. И обрадовался же я, товарищи! Сначала я подумал: „ага, „наши“ имели успех на выборах, вот Алекс и отважился к нам снова!“ Но Алекс сказал мне, что он перестроился и стоит теперь за наше пролетарское дело. Ну, не знаю, как и что, — полностью я еще ему не доверяю, но Алекс вернулся, и я рад, что он снова с нами!“

Генрих садится на место, и тут мне начинают кричать со всех сторон:

— Алекс, отвечай!

— Алекс, выскажи твое мнение!

Из дальнего угла вдруг выползает горбатый машинист Якоб и ревет, сложив ладони рушником:

— Графчик, графчик, говори, за кого ты?

Я толкаю Генриха локтем.

— Послушай, ты же меня захватил врасплох, я не готовился!

— Ничего не значит, Алекс! Валяй!

Председатель поднимается.

— Товарищ Алекс! Товарищи хотят, чтобы ты высказался. Расскажи нам, как ты перестраивался и как ты теперь относишься к пролетарскому делу.

Я поднимаюсь смущенный. Жарко. Сквозь голубую пелену табачного дыма я вижу напряженные лица старых моих товарищей. И меня подхватывает теплое чувство солидарности. Вот эти люди, эти бледные шахтеры с синими бороздами на лбу, эти истощенные женщины, эти нищие, преданные пролетарии, они — твои товарищи, твои друзья, твои братья. Ты с ними жил и работал, ты покинул их, ты написал о них книгу, читал о них доклады. Они требуют от тебя отчета. Ясного, честного отчета.

— Товарищи, — говорю я. — Мой друг Генрих рассказал вам, как мы с ним познакомились.

Да, именно таким явился я сюда. Вы должны как следует уяснить это себе: я пришел к вам прямо после тягчайшей катастрофы — после краха старого мировоззрения.

У нас было поместье в Лифляндии. В конце 1918 года в наш край вторглись большевики. Они были с нашей точки зрения исчадием ада, бандой преступников и проходивцев, посягнувших на наше святая святых — на нашу собственность. Мы спешно организовали белую армию, чтобы спасти наши поместья, нашу родину. Я — шестнадцатилетний мальчик, жадный до приключений — с энтузиазмом вступил в эту армию.

„В Риге городская беднота захватила власть. Долго сдерживаемая ненависть к сверженному классу требовала жертв. В несколько месяцев были расстреляны тысячи заложников.“

„Когда я еще учился в школе, я иногда забредал в рабочий квартал Риги, в Московское предместье. И я каждый раз содрогался при виде царившей там нищеты. И каждый раз я думал: сколько ненависти накапливается здесь в людях и в домах, и что будет, когда эта ненависть прорвется!“

„Все это было забыто. Мы просто перестали понимать эту бездонную ненависть порабощенных. Мы не дискуссировали о причинах русской революции. С нашей точки зрения большевики были просто поджигатели и убийцы. В рижских тюрьмах сидели наши родители и родственники, и мы должны были их освободить. Это было просто и ясно.“

„Обе стороны вели войну с невероятной, изчеловеческой жестокостью. Мы не брали пленных; всех, кто попадался в наши руки, мы убивали. Пленных комиссаров мы вешали. Кровавому красному террору мы противопоставили кровавый белый террор.“

„В мае 1919 года мы взяли Ригу. Но тут начались осложнения с латышами и эстонцами, которые хотели выйти из-под балтийского влияния и образовать собственное государство. Сначала эстонцы и латыши разбили нас при помощи англичан, потом англичане взяли нас под свое покровительство, — все-таки мы были надежной антибольшевистской силой. Так мы стали самой интернациональной армией мира. Командовал нами англичанин, официально мы считались частью латышской армии. Все наши офицеры были офицерами старой русской армии, сами мы были балтийцы. Мы носили немецкую форму и были вооружены немецкими винтовками, кормили нас американцы. Мы воевали с большевиками, с эстонцами, с латышами, с англичанами. Теперь нас снова отравили на большевистский фронт в Латгалию.“

„Я так подробно все это рассказываю вам, товарищи, для того чтобы вы поняли, в каком состоянии духа я тогда находился. Все, что мы делали, мы сделали зря. За что мы боролись? За кого? С „балтийской культурой“ было покончено, наши поместья забрали латыши. В тылу у нас было Латвийское государство, оно мечтало, чтобы мы провалились ко всем чертям, хотя мы его защищали, и мы его ненавидели.“

„Все это было совершенно бессмысленно. Что знал я тогда о жизни? Только одно: ничто на свете не устойчиво. Что сегодня считалось священным и правильным, то на завтра втап-

тывалось в грязь. Когда мне было три года, в 1905 году произошла первая революция. Тогда сгорела наша усадьба. Потом — мировая война. Рухнул царизм. Керенский стал у власти. Немецкие войска захватили край. Потом появился Ленин. Край захватили большевики. Германская революция. Немцы отступили. Край захватили мы. Потом латыши. Этому не было конца.

Чему научился у жизни я — семнадцатилетний солдат? Убивать людей, бегать за девками, рассказывать похабные анекдоты, грабить мирных жителей, шелкать на себе вшей.

Таким я явился в 1920 году в Германию — с пустыми мозгами, не имея впереди ничего. Я занялся своим образованием, стал студентом. Но у меня не было средств к существованию, и я отправился к вам, на рудники, в копи. Нужда, старая любовь к приключениям и любопытство! Я годами боролся против пролетариата, теперь я хотел лично познакомиться с ним — с этим миром, грозившим нам снизу.

Товарищи, в тот год, что я у вас тут работал, у меня на многое раскрылись глаза. Я увидел жестокие методы капиталистической системы, я испытал на себе, как ради блага небольшой кучки эксплуатируется и унижается человек.

И тогда мое былое представление о мире рухнуло. Идеалы, с которыми я сроднился с детства, не совпадали с этой пролетарской действительностью. Не было никакого оправдания этой системе, которая создавала для миллионов трудящихся такие условия жизни, каких не знали и рабы древности. Этот сегодняшний порядок вещей оказался не только не „божественным“, но безнравственным и нестерпимым.

Но такие ясные выводы я в ту пору еще не мог делать, товарищи. Я был еще слишком связан прошлым. Я еще цеплялся за старые буржуазные представления, во мне просыпалось чувство самозащиты, я боялся потерять почву под ногами. Генрих только что рассказывал вам, как страстно мы с ним спорили. Он сказал: „Алекс руками и ногами отстаивал свои буржуазные убеждения“. Это правда. Я не хотел и не мог признать, что все идеалы, за которые я до сих пор боролся, — ложны.

Когда мы просиживали ночами в комнате Генриха и спорили, я чувствовал, что говорю в пустоту. По одну сторону — пролетарии Генрих, Вильгельм и прочие с их простыми, ясными истинами, продиктованными суровой действительностью, по другую — выходец из чужого мира, напичканный книжной мудростью и мудростью людей, никогда не соприкасавшихся с обнаженной жизнью.

Когда я покидал вас, за моей спиной было самое тяжелое потрясение моей жизни, — это я честно говорю вам. Потом я перепробовал множество профессий, был журналистом, продавцом в книжном магазине, библиотекарем, домашним учителем, актером кукольного театра, выпускающим в издательстве и т. д. Я написал книгу о моей жизни горняка, о моих приключениях во время гражданской войны в Балтике, читал лекции, устроился журналистом в „Франкфуртер цейтунг“. Теперь зарабатываю кусок хлеба писательским трудом. За эти семь лет я многое передумал, товарищи, и многому научился. Сегодня я яснее вижу жизнь и по-

стигаю исторический ход вещей. Подобно тому как во время французской революции поднимающаяся буржуазная демократия противостояла умирающему феодализму, так сегодня поднимающийся пролетариат противостоит умирающей буржуазной демократии. Сегодня пролетариат — носитель новой исторической идеи. Буржуазия судорожно пытается спасти свои последние позиции. Капиталистическая система отчаянно борется за свое существование.

Скоро мы все поймем, куда нас толкает капитализм. Может быть переживаемый нами в данный момент кризис — еще не последний. Еще может быть передышка. Но за этим кризисом последуют кризисы еще худшие, и гибель капиталистической системы неизбежна. Чтобы победить конкурента и извлечь максимальную прибыль, капиталисты принуждены проводить рационализацию, снижать зарплату, усиливать эксплуатацию рабочих, напрягать до последних пределов производственные возможности своих предприятий. Это принуждены делать все капиталисты, никто не хочет отстать. Начинается бешеное бесплатное развитие промышленности. Рынок наводнен. Но кто купит товары? Ведь широкие покупательские массы — это те же самые рабочие и служащие, которым снижают зарплату! Так кризис сверхпроизводства принимает все более уродливые и губительные формы. И этот кризис — прямое следствие капиталистической экономики, следствие противоречия между социалистическим характером производства и капиталистической формой распределения продукции.

Кризис повсюду. Падение курсов на нью-йоркской бирже, мораторий в Соединенных штатах, снижение зарплат, растущая безработица. В Америке, по последним данным, восемь миллионов безработных, в Германии — шесть миллионов, в Англии — два миллиона. Рост безработицы в Италии, Польше, Австрии, Чехословакии, Румынии, Японии и т. д. Чтобы поддержать падение цен на сельскохозяйственные продукты, в Бразилии были брошены в море два миллиона мешков кофе. В Америке вместо угля топят маисом. У нас в Германии скорчили свиньям сотни тысяч центнеров ржи. В Китае умерло от голода два миллиона человек. Следствия безумной человеконенавистнической системы.

Товарищи, почему же держится эта система? Потому что она скрывает свое истинное лицо, свой истинный классовый характер. Предприниматель, боже упаси, работает не на себя, а на „немецкий народ“, или на „христианский мир“, или на „европейскую цивилизацию“. Вот почему еще сегодня есть широкие слои населения, безусловно защищающие капитализм.

После падения монархии капитализм немедленно взял курс на демократию. Покуда народ еще верил в демократию, все шло хорошо. Но постепенно даже самые незрячие начали постигать истинные побуждения капитализма. „Народоправство“ очень скоро обернулось владычеством банкиров и промышленников. Надо было изобрести новый маскарад. И тогда появился фашизм, последняя защитная позиция капитализма.

В Германии фашизм подвизается под именем национал-социализма. Замечательное имя, правда, товарищи? Национальный социализм. Каждый понимает под этим именем то, что ему



правится. Опять отсрочка! А откуда можно еще некоторое время дурманить этим лозунгом определенные слои населения. Позвольте мне сказать несколько слов о социал-национализме.

„Вы знаете формулу Маркса: бытие определяет сознание. Эта формула, разумеется, правильна, но она осуществляется на длительном отрезке времени, а не в один момент. Экономические изменения происходят в капиталистическом мире скачками, — например такие кризисы, как война, инфляция, могут в одну ночь разорить и пролетаризировать целые слои населения, как например мелкую буржуазию. Но это структурное изменение еще не скоро отразится в сознании объекта. Духовное развитие следует за экономическим развитием.

„Я поясню вам это примером. Если какой-нибудь богатый разорится в одну ночь, то на следующее утро он еще не пролетарий, но богат, потерявший все свое состояние. Он еще долгое время будет разыгрывать важного барина, хот у него уже не будет ни гроша. Зато сын его, который вырастет в пролетарских условиях, уже будет иметь пролетарское сознание. С этим разорившимся богачом можно сравнить пролетаризированное германское среднее сословие. Разоренный мелкий буржуа — уже не буржуа и еще не рабочий. Он больше не верит в старые буржуазные партии, он ясно понимает, что идеология этих партий больше не созвучна современности. Он ненавидит капитализм. Но перейти на сторону пролетариата он еще не может, он еще кован реакционными и буржуазными представлениями.

„И вот тут-то появляется на сцену национал-социализм и действует на самые сокровенные инстинкты мелкого буржуа. Он удовлетворяет все его требования. Антикапитализм? Сделайте одолжение, сколько угодно. Мелкий буржуа не замечает, что этот антикапитализм — ни к чему не обязывающий псевдо-радикализм, подменяющий социальный вопрос вопросом расовым, делящий капитал на капитал „хищнический“ и капитал „созидающий“, и тем самым теряющий всю свою „радикальную“ остроту. Но мелкий буржуа, не любящий додумывать до конца, жаждущий дурмана звонких слов, не желающий всерьез заниматься сложными и скучными экономическими вопросами, вполне удовлетворяется этими „удобными“ формулами и пребывает в уверенности, что он движется под „антикапиталистическим“ флагом. С другой стороны ему преподносят все то, к чему было постоянно привязано его сердце, всю старую вильгельмовскую мишуру: мундиры, шамена, парады, звон шпор, начальство, значки фрейцов, героические речи в военных союзах и т. п.

„К этому движению капитализм, разумеется, относится весьма сочувственно. Почитайте-ка буржуазные газеты, в особенности органы тяжелой промышленности. Как благожелательно высказываются они о национал-социализме! Непрерываемые потоки золота текут к ним. Ведь это же отличнейшая гвардия, прикидывающаяся антикапиталистической и не знающей, кому она служит.

„Я не испытываю ненависти к приверженцам национал-социализма и Сталинского шлема, товарищи. Я слишком хорошо их знаю. Разумеется, я имею в виду не вождей, — те, конечно, сознательные враги рабочего класса, — я имею в виду

ведомых и обманутых. Среди них есть отличные ребята, действительно верящие в идеалы „родины“ и „нации“ и в прочие слова, которыми их оглушают. Они фактически понятия не имеют о том, что они защищают интересы правящего класса буржуазии и исполняют только одну функцию — функцию подавления рабочих.

„Лишенные почвы мелкие буржуа, с извращенной и путанной идеологией, еще не могут найти путь к пролетариату. Национал-социализм еще некоторое время будет улавливать их на свою приманку — аппетитное месиво из средневековой романтики и непереверенных марксистских идей. По всей Европе фашизм еще имеет некоторые шансы, так как повсюду мелкая буржуазия сдвинута экономическим развитием с мертвой точки. Но долго обманывать массы нельзя. Пролетаризация неуклонно идет вперед. Даже самый безбедный дурак в один прекрасный день просыпается — и сбивый с толку мелкий буржуа под влиянием экономических процессов в один прекрасный день вступит на верный путь.

„Товарищи! Капитализм уничтожил и подделал все старые ценности, сегодня они — только крикливые вывески гнилой сущности. Церкви стали институтами гнилого общественного строя. „Родины“ стали концернами. Нашей судьбой управляют торгаша. Они призывают к спасению западной культуры и христианства от мировой революции, а имеют в виду спасение золотого мешка.

„Никакой „культуры“ больше нет. Нет больше никакой общности на родных интересах, никакого взаимного понимания, никакой сродины, никаких наций. Генрих хорошо сказал: у нас еще нет родины, именуемой Германией, мы еще должны завоевать себе нашу родину! Сегодня нации еще делятся на классы, непримиримо противостоящие друг другу. Каждая нация расщеплена этим фронтом, весь мир разделен на два лагеря. Мир идет к последнему, гигантскому решению. Никто из нас не имеет права разбить свой садик, поливать свои цветочки, стрелять себе собственную свою философию в то время, как мир объят пламенем. Все мы вовлечены в борьбу — и мы должны найти свое место в ней.

„Кто же я такой, товарищи? Писатель? Журналист? Разве журналист витает в облаках над классами? Я стою на земле, в самом центре классовой борьбы. Я принужден продавать мою рабочую силу, как каждый из вас, я зависим, как каждый из вас. Я принадлежу к пролетарскому лагерю, как каждый рабочий, каждый служащий, каждый трудящийся. Мне не трудно решить: я — в ваших рядах, в рядах рабочих, борющихся за новый, справедливый и человеческий мир!“

Я сажусь. Жарко. Я вытираю мокрый лоб платком. Слышу рукоплескания и крики. Мои старые товарищи окружают меня, жмут мне руку. Я чувствую мою связь с окружающими. Генрих сияет, — его Алекс не подвел его.

Зал пустеет. Мы идем ночными улицами. Моросит мелкий дождь. Капли растекаются на тусклых стеклах уличных фонарей. Улицы пусты. Мы молчим. Я иду среди моих товарищей.

Перевод с немецкого

Валентина Стеница.

## в королевской

Дмитрий Лебедев

Рисунки В. Свешникова

# Р О Щ Е

Мой друг Курт Глобах утверждает, что в Гайи он получает живые комментарии к вечерним газетам. Если полицейских бьют в восточной части роши, значит вступил в силу новый чрезвычайный декрет. Если их бьют в западной, значит безработным не выдавали пособия.

Мы шли с Куртом мимо сонной заводи. Крик привлек мое внимание. Я вытаращил глаза: на подернутом синими заморозками пруду плавали лебеди — и полицейские. Первых посадила эстетическая городская управа, а вторых — бригада пролетарской самообороны, когда полицейские нахально втесались в колонну демонстрирующих безработных.

— Ну, как газета опишет это? — спрашивал Курт.

Я люблю моего торжественного друга за необычайную ясность мысли, за любовь к простым, как дважды два, формулам, за хорошую, настоящую человеческую любовь к жизни. И сегодня, когда самоубийство господина обер-режиссера повергло в траур патристическую шваль и когда мне в конце опротивели постные лица лакеев и горничных, я решил опять заглянуть во Фридрихсгайн к моему другу Курту. Сегодня еще господин Брюнинг развешивал лысоголовым денежным тузам, что союз фронтовиков запрещен и что теперь можно спать спокойно. Курт, который сам с гордостью носит значок этого союза, поздравил меня по телефону с запрещением.

— Мы только что отлупили республиканцев, — сказал он по телефону. — Это вроде поздравления господину Зеверингу.

Я вспомнил об этом унылом союзе „Республиканского флага“, где имеет честь состоять почетным членом сам господин Зеверинг, автор запрещения красных фронтовиков, и на меня сразу повеяло хорошим воздухом Гайны.

Вечер на окраине спокоен. На мягкие кроны деревьев ложится свежий вечерний ветер. В покрывале синей дымки парк кажется волшебным лесом, — таким, как его выдумал Гейне: „Окован я в сказочно-старом лесу...“ Но у Гейне не было ни этого противного берлинского дождика ни пресных рек католических проповедниц. Какой чорт занес сюда, на рабочую окраину, эту продавщицу из небесной лавки душ?

— Купите брошюру о спасении от греха. Весь сбор пойдет на помощь угнетаемой католической церкви в России...

Кислая рожа этой весталки просится на выцветшие полотна Боттичелли. Мне кажется, она умывается квасом и пудритсЯ ладаном. Весь чудесный ансамбль вечера испорчен этой ненужной, глупой встречей. Одна из этих мироносиц сегодня тоже угодила в пруд, на

посмешище лебединой семье. Это еще сравнительно гуманное наказание для маньяка в юбке, вздумавшего предлагать голодному безработному книжечку пастора Брауна о небесной пище праведников.

Когда небо стало уже совсем синим и в роше слезами тумана осели электрические блики, я снова встретил пятидесятилетнюю девицу с книжкой о спасении души у вокзала подземки. Воздух рабочей окраины показался неприятным для этого живого ангела, и она предпочла улавливать души под синими крыльями полийского херувима. Она стояла на краешке змеистой подвижной лесенки-роллтропа, рядом с статуеподобным шупо. В сумочке пестрел католический гимн: „Привет солнцу“. Солнца еще нет. Холодный дождик со снегом заползал в рукава пальто, и стоящий у расписного окна универмага безработный забю подрагивает лихорадочной болезненной дрожью, в которой все — голод, тоска, отчаяние и одиночество. Потом она начала говорить гнусаво и нудно. На лице мироносицы комьями застыли отвратительный жир сытости. Она обещала счастье всем: капиталистам, рабочим и прежде всего — Германии. Она обещала дешево стоящий рай под сенью фашистской свастики и методически чавкала от глубокого, пронизывающего все ее существо самодовольства. Высокая, худая, морщинистая, с желтыми пятнами на лице, работница подошла к ней и сказала, глядя ей прямо в лицо:

— У меня муж бросился под поезд.

Оратор перестал чавкать, и на свиноподобной рожице проплыла неловкая гримаса казенного сочувствия.

— Отчего?

Работница посмотрела вокруг блуждающими глазами и быстро-быстро побежала к выходу. Кто-то сказал как бы про себя:

— От голода.

И потом стало тише, отзвучали далекие трамвайные шумы, — тот же голос спокойно, четко, необыкновенно положительно, пронизал толщу толпы:

— Ваши дети бастуют. Ваши дети показывают вам, как нужно бороться. Одиннадцать школ Берлина объявили забастовку. Десять тысяч ребят заявили, что они отказываются терпеть демократию Брюнинга. Вы что же, старики, отказываетесь их поддерживать?

Дряблый католический голос прозвучал из толпы:

— Детям нужно не бастовать, а учиться.

Оратор не дал ему кончить.

— Учиться? Сейчас я вам расскажу, учатся в школах Германии. Когда-то Германия гордилась своей передовой культурой. А вы

знаете, что сейчас в Германии шестьдесят тысяч безработных учителей? В школе на Гнейзенау-штрассе учитель избил палкой ученика, не приготовившего урока. Ученик пожаловался отцу. Отец был глуп, — понимаете ли, лавочник должен быть обязательно глуп, — и ребенок бежал из дому и пропал без вести. И еще. Десять дней назад, холодным утром, когда снежная изморозь уже скovala Шпрее, полицейский у моста Курфюрста выловил труп девочки в гимназической одежде. Надзиратель участка на ходу подписал приказ в морг и занялся своими делами. Девочку швырнули на холодные плиты морга, надписали номер и забыли о ней. Утром пришел отец. Слезы заволокли ему глаза, он долго не мог узнать девочку. Потом он быстро поцеловал ее, завернул в теплые одеяло и понес, не глядя перед собой, как грудного младенца. В тот же вечер он был арестован за покушение на убийство учителя. Я мог бы рассказать вам еще десяток таких же фактов. Школы стали казармой, тюремной камерой.

— Надо заявлять властям, — буркнул кто-то из толпы.

— Властям... Господина социал-демократического лидера Вельса, когда молодежь заявила ему о своих требованиях, крикнул ей: „Уйдите вон, вы — люди второго сорта“. И, с ведома господина Вельса и всех вообще господ Вельсов, у детей отняли горячие завтраки, лишили их медицинской помощи, закрыли детские кино и театры. Теперь начинают закрывать и школы. Когда-то в Германии преследовали родителей за то, что они не посылали детей в школы. Теперь работодатели обращаются к отцам с призывом не посылать детей в школы, так как образование стало роскошью...

Сноп искр озарил толпу. Полицейский автобус освещал улицу прожектором. На окраинах бастовали металлисты, и потому в городе было тревожно. Это было внезапно, как молния. Под вечер в Гайне улицы поблескивают мутно-сизыми пятнами газовых фонарей. Отсюда далеко до центра, где сине-лиловыми искрами кружит электрическая мятель. Здесь меньше или даже совсем мало авто, а трамваи отмечаются пятнадцатиминутными интервалами. И потому так неожидан был этот вестник из того мира.

Курт Глобах — конечно, это говорил Курт Глобах, — сошел с тротуара и сказал громко:

— Эту армию выслали против детей. Сейчас наших детей будут убивать. Что ж, мы будем смотреть на это спокойно?

Толпу, как сигнал, разрезал чей-то нервный вздох. Истерический женский голос кричал:

— Не надо стрелять! Не надо стрелять! Вы убьете моего ребенка!

Автомобиль надвигался, как черная туча. Улица замерла и расступилась. Тогда при свете факелов и мигающей рекламы я увидел детскую демонстрацию. Школьники шли ровно, отбивая шаг, прорезав бесцветную муть улицы красными пятнами лозунгов. Сбоку узенькой колонной шли учителя.

— Вон фашистов-учителей из школы!

— Прекратить закрытие школ!

— Горячие завтраки школьникам вместо броненосцев!

— Запретить избивание учеников!

Курт вышел вперед.

— Товарищи, дайте слово не сдаваться! Демонстрация грохнула:



Купите брошюру  
о спасении души.

— Нет

И потом, как по ниточке, побежал по рядам крик:

— Штрейк! Штрейк! Штрейк! Троц алледем (стачка несмотря ни на что)!

Маленький хвостик колонны приклеился откуда-то сбоку.

— Школьники Нейкельна присоединяются к забастовке.

— „Молодую гвардию“! „Молодую гвардию“!

Пожар песни зажег демонстрацию. Площадь восстала навстречу вереницу ревущих автомобилей, полицейскими свистками, синим строем шуло.

— Гальт!

Я видел, как Курт бежал впереди и кричал:

— Вперед! Вперед! Они не смеют нас останавливать.

Звонки трамваев заглушил внезапный залп. Толпа замерла. Холодный язык прожектора лизнул демонстрацию.

— Убийцы!

Из толпы рабочих, — той, что недавно слушала Курта, — отдлился десяток, затем подбежали еще. Во тме я услышал, как лязгают чьи-то челюсти, перепуганный мелкий буржуа трусливо мтался в поисках подворотни. Курт потрялся в толпе, и я слышал только его крик:

— Вперед, вперед, они стреляют в воздух! Расстроенная вначале демонстрация вновь соединилась в колонну поменьше. Красный огонь светофора предупреждал об опасности. Люди шли на огонь. Десяток полицейских соскочил с автомобиля. Курт кричал:

— Вперед! Вперед!

Демонстрация вышла из опасной зоны. Когда вновь налетел полицейский автомобиль, Курт скомандовал:

— Вразсыпную!

Демонстрации как не бывало. Через десять минут она продолжала шествие в полном порядке. Партийный комитет прислал своих руководителей, которые учили ребят, как бороться с полицией. Узенькая колонна вытянулась вдоль трамвайной линии. Поваяло зеленой свежестью Гайна. Из аллеи вливались струйки подходящих колонн. Перекресток улицы Ботцова встретил их снежным пухом. Снег в августе? Но это был мирж. Это был именно пух — и только. Два полицейских героически полезли по брусчатке и старательно собирали в клочья изорванные подушки. Это воспитательный дом встречал школьную демонстрацию. Ребята потребовали, чтобы их выпустили на улицу. Школьный жандарм ответил отказом. Тогда ребята расколотили стекла, поломали столы, повыбрасывали на улицу все подушки. Им ответили тысячи голосов:

— Ура!

Пяток воспитанников все-таки спустился на клочьях простыней. Они как кошки сползли по гладкому карнизу. Внизу их подхватили на

руки и потащили с собой. На пути еще пришлось выделить небольшой отряд в соседнюю улицу. Курт получил сведения, что там полиция разгоняет забастовочные пикеты возле школ. Хитрая администрация попробовала устроить ночные занятия для учеников-штрейкбрекеров. Ребята поставили пикеты. Теперь городовые Зеверинга пришли разгонять их. Маленький отряд наш долго мтался по пустым улицам, пока не разыскал злосчастную школу. В палисаднике, у какого-то древнего дома нас окликнули. Это сиел спрятавшийся туда забастовочный пикет. Помощь Курта оказалась уже ненужной. Родители-коммунисты сами пришли охранять пикеты. Полицейские походили, поняли и ушли. Встреча с хорошими пролетарскими кулаками показалась им недостаточно привлекательной. Мы вернулись к демонстрации. Ее уж поглотило громадное кино на „Ам Фридрихсгайн“, где в этот вечер должно было состояться грандиозное собрание, посвященное забастовке школьников. Хотя собрание созвали фашисты, но наши ребята решили полностью принять в нем участие.

Фашисты объявили дискуссию. Спор между партиями не всегда ведется на улице, и нередко арена кино представляет больше политических удобства, особенно когда приходится, минуя вождя, говорить с массами. Фашист Геббельс говорил долго, уныло, тягуче, сдобривая свои тощие аргументы крепким настоем демагогии. Горбатый Геббельс замтно волновался. Конечно, Курт — слабый оппонент, и, конечно, его легко разбить воплями, на которые так способны фашисты. Но все-таки легко ли доказывать, что черное — белое?

Спокойный, коренастый Курт начал словесную перестрелку железными, простыми словами. Просто, как дважды-два: следы фашистских залп у предпринимательской кассы, глупые биюльки великой Германии, длинный и путаный путь к императорскому дому, предательство, штрейкбрекерство, бандитизм.

— Вы хотите видеть политических мошенников? Вот они.

Курт четкими, ловкими движениями снимал с фашизма его розовые одежды. Задняя половина зала ответила ему громким „ура“. Впереди, где сидели фашистские молодцы с кастетами, зашикали. Десятки зверских рож угрожающе обернулись назад. Отсюда кричали:

— Довольно! Довольно!

Но Курт продолжал говорить. Его голос был так же четок и ровен, как в начале. Положительно он мне нравился, этот молодой, но такой вдумчивый оратор. И вот в зале запало смрадом. Густой струей повисла в зале провокация. В передних рядах постукивали тайные кастеты. Каждая минута угрожала политическим скандалом, и криобокс Геббельс не выдержал. В зале, где несколько тысяч людей в течение двух часов подвергались словесному обстрелу, где политическая атмосфера переходит все градусы кипения, немного нужно для того, чтобы спор перешел в потасовку. Кулаки начинают действовать тогда, когда голова испытывает непреодолимую усталость. И вот я увидел, как завертелся в воздухе прерванный на полуслове Курт: его подбросили чьи-то фа-





шпистские руки. Потом загремели стулья, и зала превратилась в сплошное поле сражения.

Двое ребят вырвались на улицу, остановили какой-то заблудившийся автомобиль. Это были парламентарии в Гайн. Гайн и Веддинг — пороховые погребки компартии. Застучали окна нижних этажей. Через несколько минут у ворот кино зашумели рабочие резервы. Струйкой огня побежала по рабочим кварталам тревога. Крик действовал лучше божьих труб. Замерли трамваи, резиновые дубинки сворачивали авто в соседние улицы, прохожие торопливо обходили опасную рошу. Сколько ступеней было разбито на фашистских черепах! Сколько храбрых фашистских воинов, придя домой, не дочитавших самых ответственных частей туалета! А подходящие резервы все теснили уставших.

— Пустите нас, мы еще не били эту сволочь! И в смежные пролеты парка, в кривые аллеи его кудреватых лип вылетел кончик схватки: те, кому не хватило места в кино, дрались здесь. О, молодец Фридрих! Какую рошу вынанычил! Фашисты тоже притащили свои резервы, ребятень, теперь уже отошла на второй план, дрались взрослые, возмущенные этим бесстыжным нападением на детей. Улицы напоминали поле сражения на Марне. Окна зияли дырами выбитых стекол. Последнее, что запомнилось мне, это, как Курт с чувством молотил бутылкой по черепу одного фашиста. Фашист только побрякивал. До чего крепки фашистские черепа!

— Стой!

Полиция ожидала у входа, деля выходящих на овец и козлищ. Последними, как правило, оказывались коммунисты. Среди них синие ангелы производили отбор: часть предназначалась для спешного суда, а часть подвергалась добавочному различному внушению. Практические занятия по теории классовой борьбы. Потом еще подошли безработные. Они двигались медленно, подходя к продовольственным магазинам и сухо требуя пищи. Иногда лавочники, трясущиеся в холодном поту, безропотно выдавали им внезапный паек. Другие баррикадировались, и тогда через минуту лавка обращалась в маленькую копию вавилонского столпотворения. Безработные прошли по уже расчищенной улице, дружно приветствовали разбитое кино и двинулись дальше. Уже подходя к дому, я услышал выстрелы: демонстрация кончалась...

Курт рассказывал мне потом: когда в торжественный покой Вильгельмштрассе, где строгие каштаны резниво охраняют входы во дворец президента, вошла колонна безработных, ее встретили резиновыми дубинками. Дворец ошетинился вооруженной шеренгой охраны. Офицер скомандовал стрелять. В пасть мраморному льву брызнула первая кровь. Крик. Толпа метнулась в аристократический коридор Унтер-ден-линден, где рев автомобильных гудков яростнее, чем прибой океана. Резиновая демократия победила. Но вот через месяц сюда же вновь пришли колонны безработных. Был тот же вечер и была та же встреча. Но на этот раз безработные остались на улице, а полиция спряталась в подюротни. Почему? Курт говорит:

— Господин Брюннинг утверждает, что Союз красных фронтовиков запрещен. Немного

ума у господина Брюннинга. Можно ли запретить пролетарские кулаки?

Океан берлинских улиц поглотил сотни демонстраций. В ночь, когда на Вильгельмштрассе подписывался чрезвычайный декрет, к асфальтовому берегу улицы прибило очередную волну демонстрантов. И вот в толпу брезался кавалерийский галоп синих мундиров. Толпа требовала хлеба. Полиция утешала голод резиновыми дубинками. Кулак полицейской атаки разметал в спокойную гладь переулков оборванные брызги демонстраций. Но навстречу резиновой кавалькаде вырос строй яростно сжатых кулаков. И, пятась, полицейские отступили назад...

Я встретил Курта потом в суде. Гордого, уверенного, смелого. Секретарь суда гнусаво читал замечательные странички его биографии. Это он вынес из Вильгельмштрассе знамя безработных, когда его вырвала полицейская пуля. Это он вывел на улицу одиннадцать бастующих школ. Это он в маленькой комнатке второразрядной гостиницы устроил комсомольский клуб, куда постоянно стекались ребята из всех районов. И это он же придумал замечательный трюк для бастующих молодых металлистов: пока одна группа отвлекала сторожа разговорами, другая пробиралась на фабрику и клеила опасные плакаты.

Его отдали под надзор родителей: я забыл сказать, что моему другу Курту — только тринадцать лет.

... От пруда с уснувшими лебедями извилистая дорожка привела меня к пустынной теннисной площадке.

Демонстрация кончилась. Демонстрация преврана — до завтра.

## Читатели!

Мы хотим знать ваше мнение о печатающемся в журнале материале и твои требования, которые к ты журналу предъявляешь. Пиши отзывы о выходящих номерах журнала, об отдельных рассказах и очерках.

Редакция

# Алюминий

В

## наших руках

Л. Железнов

Мурманка—дорога гигантов. По ее полотну с каждым годом все дальше и дальше на Север шагают богатыри социалистической индустрии. По ней прошли первые маршруты Волховстроя, Сясьстроя, Свирьстроя, Кондостроя и других строек социализма, воздвигнутых на месте непроходимых топей и густых лесов. По ней завезен в центр Хибинской тундры, на безлюдный Кольский полуостров новый город—Хибиногорск. И каждый день идут на Север поезда со строительными материалами и машинами для новостроек, превращающих медвежий углы северных окраин в индустриальный край.

### Первенцы

На сто двадцать четвертой версте от Ленинграда стоит Волховстрой. Вернее — не Волховстрой, а Волховская гидроэлектростанция имени Ленина. Шесть лет назад Волховстрой перестал быть строительством и превратился в действующую гидроэлектростанцию. Но имя „Волховстрой“, с которым связана целая эпоха в жизни страны, не исчезло вместе со строительными лесами, а навсегда закрепилось за гидроэлектростанцией. И сейчас, когда мурманский поезд медленно взбирается на железнодорожный мост через Волхов, пассажиры бросаются к окнам, чтобы взглянуть на Волховстрой.

Но не долго Волховстрой остается в фокусе внимания. Его быстро сменяет Алюминстрой — новый индустриальный гигант на берегу Волхова, только что вступивший в эксплуатацию.

Алюминстрой — величайшее завоевание социалистической техники. На площадке, где два года назад темнел лес и в болотах квакали лягушки, вырос большой индустриальный город с многотысячным населением. Многоэтажные заводские корпуса видны далеко за рекой. Город заложен еще в дни Волховстроя. Но сейчас он пополнился сотнями новых строений. Рядом с приземистыми деревянными домиками возведены большие четырехэтажные дома.



Алюминстрой и Волховстрой образовали единое целое. Не будь Волховстроя, не было бы и Алюминстроя. Производство алюминия требует огромного количества дешевой электроэнергии: двадцать тысяч киловатт-часов на одну тонну металла. Волховская гидроэлектростанция и является энергетической базой Алюминстроя, отдавая ему уже сейчас значительную часть вырабатываемой энергии. А в дальнейшем Алюминстрой поглотит всю мощь Волховской гидроэлектростанции и вынужден будет прихватить и некоторое количество энергии Свири.

Еще одно обстоятельство роднит Волховстрой и Алюминстрой. Оба они — первенцы. Волховстрой — первенец ленинской электрификации. Алюминстрой — первенец советской алюминиевой промышленности. Вслед за Волховстроем создан Днепрострой, строится Свирьстрой и десятки мощных гидроэлектростанций. Вслед за волховским Алюминстроем начинает работать алюминиевый комбинат на Днестре, а за ним — и новые гиганты алюминиевой промышленности, освобождающие СССР от необходимости тратить десятки миллионов рублей валюты на покупку алюминия за границей.

### Первая плавка

Сегодня площадка Алюминстроя еще завалена горами строительных материалов, еще изрыта траншеями, еще не везде сняты леса. Но на воротах комбината и через улицы рабочего городка протянуты уже кумачевые плакаты:

14 мая в 15 часов 45 минут комбинат дал стране Советов первый алюминий.

Скупые, как в телеграфном донесении, слова этого рапорта насыщены героическим пафосом. Первая плавка была первым экзаменом советским алюминщикам. У электролизных ванн

встали вчерашние строители комбината, предвзительно обученные на опытом алюминиевом заводе в Ленинграде. Некоторые из них побывали во Франции и познакомились с техникой алюминиевого производства на французских заводах. Но работать самостоятельно на больших электролизных ваннах им пришлось впервые. И не только рабочим: большинство инженеров-алюминщиков, молодых и по возрасту и по стажу, с пуском Волховского комбината получили такое же „боевое крещение“.

Подготовка к первой плавке началась задолго до пуска комбината. Алюминщики заранее начали репетировать свои производственные роли. Чтобы научить рабочих обращаться с ваннами, проводились „производственные маневры“. Бригады становились на свои места и устраивали, пробный холостой пуск ванн. А инженеры в это время знакомили рабочих с условиями эксплуатации ванн и с производственными инструкциями.

На первую выплавку весь руководящий инженерно-технический персонал вышел в цех и вместе с рабочими стал у ванн. Была создана специальная пусковая бригада из лучших ударников. И к моменту плавки в цех явилось немало добровольцев-ударников из других смен, чтобы присутствовать при рождении советского алюминия.

Плавка началась 12 мая. После суточного прогрева ванн их начали загружать криолизом, который является растворителем окиси алюминия при электролизе.

Черные днища ванн скрылись под белым порошком криолита. Люди включили ток и подняли электроды. Между электродами и днищами ванн образовалась вольтова дуга. Белый порошок медленно плавился, превращаясь в жидкую огненную массу.

Все шло нормально. Люди в синих спешовках, в длинных рукавицах и защитных очках, напряженно следили за ходом плавки. Вдруг стрелка вольтметра круто качнулась влево: прекратилась подача тока. Наступило тревожное замешательство. Бросились к телефону. Оказалось — авария на Волховской гидростанции. Все отлично поняли, чем это грозит: из-за перерыва в подаче тока может застыть криолит и ванны, которые должны непрерывно работать два года до первого ремонта, преждевременно выйдут из строя. Прошло двадцать минут томительного ожидания. Некоторые ударники побежали на преобразовательную станцию, чтобы в случае надобности оказать помощь. Но стрелка вольтметра продолжала безжизненно висеть на нуле.

Наконец стрелка вздрогнула и сделала резкий прыжок вверх: подача тока возобновилась. Все вздохнули облегченно. Опасность миновала. Криолит не успел застыть, и ни одной ванны не испортилось.

Около пяти часов вечера в ванны с расплавленным криолизом загрузили первые порции окиси алюминия. Неотлучно дежурили рабочие у ванн, наблюдая за каждым колебанием стрелки вольтметра, пристально вглядываясь в расплавленную массу. И 14 мая в пятнадцать часов сорок пять минут из ванны были вычерпаны первые килограммы советского алюминия.

Алюминистрой превратился в действующее предприятие. На цеховые митинги-летучки вышли тысячи строителей комбината. В ознаменование первой плавки они приняли новые ударные обязательства: скорее окончить стройку и быстрее освоить технологический процесс.

— Наша победа — результат большевистского руководства Ленинградского обкома ВКП(б) во главе с товарищем Кировым — заявили на своих митингах строители комбината. — Поэтому просим ЦИК СССР наименовать Алюминиевый комбинат именем тов. Кирова.

Почти все двадцать четыре ванны, введенные в эксплуатацию, с первых же дней осваивали проектную мощность. На высоте оказалось и качество советского алюминия. Первые плавки дали металл, содержащий свыше девяноста девяти процентов чистого металла. А через несколько дней комбинат дал металл первого сорта, содержащий свыше девяноста девяти с половиной процентов алюминия.

Из первого советского алюминия они отлили барельефы Ленина и Сталина в подарок ЦК ВКП(б).

Характерно, что победа советских алюминщиков сразу попала в орбиту внимания иностранных промышленников. Алюминистрой получил из Ливерпуля от крупной английской фирмы следующее письмо:

„Из газетных сообщений мы узнали, что у вас пущен алюминиевый завод. Сообщите, не смогли ли бы вы продать нам партию металла высокого качества?“

## Биографии алюминия

Алюминий — один из самых распространенных металлов в природе. По алюминию мы ходим: земная кора содержит его от семи до восьми процентов. Но извлечь алюминий из всевозможных соединений, в которых он встречается в природе, чрезвычайно трудно. Этим и объясняется тот факт, что мировая техника сравнительно недавно овладела процессом его производства.

Алюминий открыт лет сто назад. Но прошло из одно десятилетие, пока выплавка его началась в заводском масштабе. Получение „серебра из глины“ произвело в свое время большой фурор. Алюминиевая каска датского корсра и слиток алюминия весом в один килограмм были самыми сенсационными экспонатами на промышленной выставке в Париже в 1856 году.

За семьдесят шесть лет, прошедших с того времени, алюминий нашел себе более достойное применение, нежели украшать головы „высокопоставленных“. Он проник во все области мирового хозяйства. „Серебро из глины“ положило себе дорогу и в машиностроение, и в авиационное, и в автостроение, и в судостроение и в другие отрасли промышленности. Американцы даже начали применять алюминий при постройке небоскребов.

Алюминий более чем в три раза легче меди и почти втрое легче чем железо. Он обладает высокой механической прочностью, легко поддается обработке, хорошо штампуются и прокатывается. При этом он обладает отличной электропроводностью и теплопроводностью. Но одно из самых главных преимуществ алюминия (понятно, не считая его легкости) заклю-

чается в том, что он не поддается ржавчине и другим воздействиям атмосферы.

Алюминий — легкий металл. Но борьба за алюминий оказалась далеко не легкой. В течение ряда лет алюминиевая проблема была опутана тонкой паутиной вредительства. Вредители доказывали, что с алюминием нам не справиться, так как он требует огромного количества электроэнергии, что у нас отвратительное сырье, что мы не сумеем, наконец, овладеть сложным технологическим процессом алюминиевого производства.

На борьбу за советский алюминий выступили лучшие люди науки, лучшие представители советской инженерии. Их первые опыты увенчались успехом: была доказана полная возможность производства алюминия в СССР. В 1929 году на заводе „Красный выборжец“ в Ленинграде, из советского сырья, силами советских ученых, инженеров и рабочих были получены первые килограммы советского алюминия. А еще через некоторое время в Ленинграде был оборудован опытный алюминиевый завод. В августе 1929 года правительство постановило приступить к постройке двух больших алюминиевых комбинатов — на Волхове и на Днестре — для получения металлического алюминия из тихвинских бокситов.

На площадке, выбранной для постройки волховского Алюминкомбината, весной 1930 года появились отряды строителей. Они вырубали лес и начали рыть котлованы. А в июне 1930 года, после краткого митинга на площадке, состоялась закладка первой советской алюминиевой промышленности. В один из котлованов будущего комбината была заложена памятная алюминиевая доска (сделанная из советского алюминия на Опытном заводе) с краткой надписью о дате закладки.

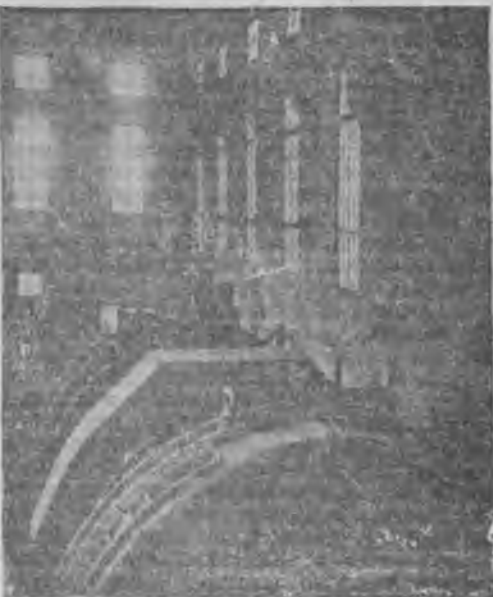
Пришедшие на площадку со всех концов страны тысячи землекопов, каменщиков, бетонщиков, штукатуров, арматурщиков, плотников, монтажников и других строителей двадцать два месяца под ряд возводили цехи будущего комбината.

### Рождение серебра из глины

Тихвинские бокситы, залежи которых находятся в нескольких десятках километров от комбината — основное сырье для производства алюминия. Они представляют особый вид темнокоричневого минерала, содержащего до пятидесяти двух процентов окиси алюминия. Но надо признать, что тихвинские бокситы — далеко не первосортное сырье. В них содержится высокий процент кремнезема и они по качеству во многом уступают иностранным бокситам. Несмотря на это перед алюминистами Волховского комбината поставлена задача дать металл, не уступающий по качеству иностранному.

Производство высококачественного металла из плохого сырья — в этом основное отличие Волховского алюминиевого комбината от аналогичных западно-европейских и американских предприятий.

На площадке Волховского комбината воздвигнуто свыше двадцати цехов. Не считая подсобных предприятий, комбинат состоит из трех основных частей — мощного энергетического хозяйства, глиноземного завода и электролизного завода, плавящего металл.



Мощная фидерная станция — сердце комбината. Сюда поступает ток Волховстроя. Отсюда он расходится по всему комбинату, на все четыре понижаящих подстанции, питающих энергией цехи, и на преобразовательную станцию, превращающую переменный ток в постоянный. Переменный ток для плавки алюминия электролизом не годится. Электролиз алюминия требует постоянного тока. Поэтому преобразовательная подстанция оборудована тремя гигантскими мотор-генераторами постоянного тока. Два агрегата уже в работе. Третий (резервный) монтируется. Агрегаты такого типа и такой мощности насчитываются единицами в мире.

Тихвинские бокситы подаются прямо с рудника на склад по специально продолженной же-



тезнодорожной ветке. Они выгружаются кранами, развозятся по складу и загружаются в бункеры дробилок.

Прибытие на склад бокситов содержит от восемнадцати до двадцати процентов влаги. Влаго нужно удалить. С этой целью измельченные в дробилках бокситы захватываются бадьей специального подъемника и взлетают наверх. В загрузочные бункеры цеха сушки бокситов. Все делается автоматически. За работой наблюдает только один человек. Цех сушки оборудован двумя большими вращающимися печами.

Из цеха сушки транспортер подает массу в цех размола, дозировки и смешения. Шаровые мельницы размалывают бокситы в порошок. Затем в дозировке эта масса встречается с содой и мелом. Составляется шихта. Сода примешивается к бокситам, чтобы освободить окись алюминия от окиси железа, а мел—чтобы освободить окись алюминия от окиси кремния.

Следующий цех—цех спекания, оборудованный двумя шестидесятиметровыми вращающимися печами, прокаливает всю эту массу при температуре в тысяча т... градусов. Происходит сложный химический процесс. Сода соединяется с окисью железа и окисью алюминия, образуя растворимые алюминаты (соединения алюминия с натрием) и нерастворимую соль железа. А мел, соединяясь с окисью кремния, образует нерастворимые силикаты. Вся эта масса, так называемый „плав“, охлаждается и идет в шаровые мельницы цеха размола, где и вращается в порошок. Алюминаты растворяются в цехе выщелачивания, оборудованном громадными металлическими чанами, баками и автоклавами.

Освобожденный от красного шлама (отбросы производства) алюминиевый раствор переходит в следующий цех — цех карбонизации. Каждый литр раствора содержит до семидесяти пяти граммов окиси алюминия. В восьми карбонизаторах под действием печных газов происходит разложение алюминатов на гидрат окиси алюминия, который в виде кристаллов садится на дно, и раствор соды, который сливается в приемные баки, затем насосом отправляется в содовые цехи для извлечения соды. Полученные кристаллы окиси алюминия промываются и подаются в вращающиеся печи кальцинации глинозема. При температуре в тысячу двести-триста градусов окись алюминия прокаливается, охлаждается и отправляется в бункеры электролизного завода.

Окись алюминия готова. Остается извлечь из раствора соду, чтобы снова пустить ее в производство. Эта операция производится в больших выпарных батареях и автоматических центрифугах. Получается моногидрат соды, содержащий до пяти процентов влажности. После этого вся влага моногидрата должна удаляться в вращающихся печах цеха кальцинации соды. Но Государственный институт прикладной химии недавно произвел опыты, показавшие, что моногидрат соды можно пускать в производство без предварительной кальцинации. Это делает излишним целый цех комбината и значительно упрощает производственный процесс.

Однако цех кальцинации соды уже построен. О способе, только что разработанном ГИПХом, раньше не знали. И если окончательно будет

доказана возможность пускать моногидрат соды в производство без предварительной кальцинации, то, очевидно, цех кальцинации соды будет использован для других целей.

Глиноземный завод Алюминстроя, так же как и электролизный, вступил в эксплуатацию.

От быстреего освоения технологического процесса на глиноземном заводе зависит развертывание производства электролизного завода, т. е. темпы выплавки алюминия. Как только глиноземный завод начнет давать достаточное количество окиси алюминия, все ванны электролизного завода вступят в эксплуатацию.

### Лишь первая вежа

Электролизный завод Алюминкомбината, плавящий уже металл, оборудован по последнему слову техники. Основное оборудование завода—сто шестьдесят электролизных ванн, рассчитанных на выплавку шести тысяч тонн алюминия в год. Пока работают двадцать четыре ванны. Остальные будут вводиться в эксплуатацию по мере поступления окиси алюминия с глиноземного завода.

Плавка алюминия—электрометаллургический процесс. Окись алюминия, поступающая в электролизную ванну, растворяется в криолите, разлагаясь под воздействием электрического тока на чистый металлический алюминий и кислород. В каждой ванне—четыренадцать электродов, являющихся анодами. Катодом является днище ванны, на которое оседает расплавленный алюминий. Когда наплывется достаточное количество алюминия, в ванну опускается чугунный горшок с отверстием внизу. Через это отверстие горшок наполняется расплавленным алюминием. Металл вычерпывается ковшем и сливается в большой металлический бак. Бак этот отвозится краном к изложницам, откуда алюминий выходит уже в виде готовых к отправке чушек.

Алюминщики, в отличие от рабочих других металлургических предприятий, будут работать в цехе без дыма и копоти. На их обязанности—только следить за нормальной работой ванн. время от времени подсыпать в них окись алюминия или криолит и вычерпывать алюминий.

Алюминстрой плавит алюминий. Но стройка не прекращается. На очереди—дальнейшее расширение комбината. Вместо шести тысяч тонн алюминия в год Волховской комбинат должен будет выпускать двенадцать и пятнадцать тысяч тонн.

Алюминиевый комбинат на Волхове — крупнейшее предприятие подобного типа в Европе и во всяком случае единственное, мощность которого будет использована полностью. Франция, родина алюминия, страна высоко развитой алюминиевой промышленности, под ударами кризиса вынуждена свертывать производство алюминиевых заводов. Величайший в мире алюминиевый завод в Канаде работает далеко не с полной нагрузкой. Это — у них. А у нас: Алюминиевый комбинат на Волхове — лишь первая вежа на пути развития советской алюминиевой промышленности. Изучив опыт Волховского комбината, подготовив в его цехах высококвалифицированные кадры, страна социализма воздвигнет новые гиганты алюминиевой промышленности — для производства металла, которому принадлежит будущее.



# у н а с и у н и х

В. Тоболяков

## 1. Два письма

Это он — Роберт из Дирборна, рабочий фордовского завода „Руж“ — подошел к русскому, тщательно изучавшему какую-то сложную деталь, и, тронув его за плечо, через переводчика начал объяснять сущность дела. Русский, посланный на завод Форда учиться передовой технике, чтоб догнать и перегнать своих учителей, хмурил брови; на лбу выступили, как на запотевшем стекле, капельки теплой и соленой влаги. Роберт улыбнулся, похлопав русского по плечу; он принес чертежи детали.

— В России это вам пригодится, — сказал он, передавая круглый, как подозрительная труба, сверток с эскизами.

Русский, разобравшись в чертежах, хотел на другой день вернуть их Роберту, но Роберт не являлся на завод ни завтра ни послезавтра: он работал только раз в две недели.

Позднее, когда 31 мая 1929 года в Дирборне ВСНХ подписал договор с Генри Фордом (по договору Форд давал разрешение строить его машины лучшей модели А), рядом с фотографией, изображающей высокого, худощавого, всегда улыбающегося перед объективом старика и представителей молодой республики, Роберт прочитал на огромных, как окна, страницах „Нью-Йорк таймс“:

„В Советской России около города Нижнего-Новгорода предполагается постройка большого автомобильного завода. Эта мысль как будто начинает принимать реальные очертания. Несомненно, что если наши фирмы и предприятия инженеры возмущаются за дело, они безусловно построят в этой дикой стране автозавод. Но позволительно спросить московское правительство, откуда оно возьмет необходимые квалифицированные силы, чтобы построить автозавод, рассчитанный как будто на выпуск ста тысяч машин в год, а затем эксплуатировать его? Не есть ли это очередная фантазия кремлевских фанатиков?“

Через несколько дней Роберт был в бюро по вербовке рабочих на строительство Нижегородского автозавода. Дождавшись своей очереди, Роберт сказал, что хотя он не инженер, но достаточно квалифицированный рабочий. И что здесь, на берегах Рувера, делать ему нечего.

Просмотрев документы Роберта, вербовщик сказал:

— Вот здесь поставьте вашу подпись...

Роберт поселился с женой в особом американском поселке, в стандартном белоокрашенном коттедже, и сразу же с увлечением принялся за работу. Ему очень мешало незнание языка, — быстрее всего он выучил международные,

родившиеся в революцию, слова: „промфинплан“, „пятилетка“.

Увидев явившуюся работать на завод толпу колхозников-отходников, в плетеных лаптях, в сермягах, опорках, с надкусанными краями хлеба под мышками, со сменами домотканого грубого белья в личных котомках за спиной, Роберт невольно вспомнил слова „Нью-Йорк таймс“. Придя домой и старательно очистив о скребок налипшую к толстым подметкам американских ботинок красную глину и черную грязь, он сказал:

— Будет трудно. Они ничего не знают. И нигде в мире я не видел народа, который выпускал бы рубашки поверх брюк...

Время шло, росли стены автозаводских цехов, росли вместе со стенами и Роберт и колхозники. Переброшенные с действующих предприятий две с половиной тысячи советских пролетариев, да энтузиазм, да ударничество и соревнование, незнание на берегах Рувера, превращали сермяжные кучки в дисциплинированную армию труда. Был выпущен внутризаводский заем „Автогигант в срок“. Купоны по займу оплачивались не деньгами, а идеями, рационализаторскими предложениями. Роберт один из первых набрал себе купонов, и долго ночами горел в окне его комнаты свет: Роберт погашал купоны.

Роберт редко переписывался с друзьями, оставшимися на заводе „Руж“ у Форда. Океан, тысячи километров земли, работа, заем идей — все это разделяло его с ними.

„Роберт, — писали из-за океана. — Мы рады были получить от тебя весть. Но почему ты хвастаешь этим механосборочным цехом? Что тебе до того, что его длина пятьсот пятьдесят шесть метров, то есть почти два „Левиафана“, как ты пишешь? Ведь мы не ездили, да наверное и не будем ездить на „Левиафане“. Впрочем на чужбине мы, американцы, остаемся видимо американцами: любим все самое большое. Молодцы, что вы построили пятнадцатый корпус, — наверное ты заработал немало денег“.

Как-то весной, через три месяца после пуска завода, Роберт пришел домой.

— Роберт, — сказала жена, вытирая рукавом вязаного свитра слезы с покрасневших глаз. — Посмотри, что пишут из Дирборна.

Осторожно кончиками немых пальцев Роберт взял конверт плотной бумаги с американской маркой; черные линии почтового штемпеля двухнедельной давности переехали ее, как железнодорожные пути у большой станции. Роберт читал, его лицо нахмурилось, строчки прыгали перед глазами, словно он ехал в автомобиле по проселочной дороге. Ногой он придвинул стул и прижал письмо ладонями.

Вот что писали из Дирборна:

„Дружники Роберт! Ты наверное уже слышал про этот ужасный расстрел 9 марта. Странные дела творятся у нас. Американцы, старые сто-процентные американцы, не какие-нибудь эмигранты, голодают, а витрины в лавках жиреют от продуктов. Часами стоим мы у бесплатных столовых или контор по найму. На заводе „Руж“ останавливаются все чаще и чаще конвейеры, замирают станки и палками выбрасываются рабочие. Недавно Генри обещал приступить к изготовлению ста пятидесяти тысяч авто и снова нанять четырехста тысяч мужчин. Но все это оказалось первоапрельскими шутками. Да и кто у Генри будет покупать авто, если в желудке пусто?

„Все это нам надоело, и мы — пять тысяч рабочих, уволенных Фордом — направились по шоссе из Детройта в Дирборн. Несмотря на холод мы были легко одеты и подогревали себя быстрым шагом и песнями. Мы несли щиты с требованием принять обратно рабочих, бесплатной медицинской помощи, выдачи зимнего пособия и уравнивания в условиях труда негров с белыми. Последний щит несли двое — твой друг Томас и хромой негр Джеки. Ты его можешь быть помнишь? Он приехал из Франции, где был ранен, сражаясь против германцев. В предместьях Дирборна мы вдруг увидели полицию. Полицейские быстро выдергивали из сумок противогазы и надевали их. Мы не успели опомниться, как облака слезоточивого газа медленно пошли нам навстречу. Слезы брызнули из глаз, мы закашляли, зачихали, передние в замешательстве остановились.

„— Вперед, вперед! — закричал хромой негр, поднимая выше щит. — Под Инром было страшнее.

„Нам помог ветер. Он разорвал облака, и, пронеся их по щитам над нашими головами, развеял в небе. В это время струи ледяной воды посыпались на нас, сбивая шляпы, кепки, сворачивая галстуки. Продрогшие и без того, мы поднимали воротники пальто, своими телами прикрывали женщин, но брандспойты били прямо по нас. Одежда намокала и обжигала холодом спины, ноги, руки; асфальт чернел от луж, которые стекали с нас. Не было спасения. Защищая лица руками, мы бросились вперед и ворвались в город. На перекрестке улиц мы увидели Беннета. Не забыл ли ты этого негодяя, главу полиции? Он стоял в автомобиле и пытался что-то говорить. В бешенстве мы опрокинули его авто вверх колесами. Над лежащим Беннетом какой-то весельчак, сняв свой пиджак, выжал его. Но, когда мы подошли к виадукку, пожарные опять начали поливать нас водой. Промокшие до последней нитки, с налипшей одеждой и отжелезевшими башмаками, мы в ярости одолели насыпь и пробежали вперед.

„Около конторы послышались выстрелы. Один, другой, третий... Винтовочные, короткие револьверные. Томас и Джеки упали первыми грудью на асфальт. Джеки пытался еще подняться, опираясь на локти, но силы его оставили, кровь текла по его мокрому лбу. Он умер рядом с Томасом.

„Увидев, что мы опять растерялись, вперед выскочила девушка, — ее зовут Мери Госман. Она сбросила с плеч мокрое пальто и, оставшись в кофточке, закричала:

„— Ни шагу назад, трусы! Довольно ест картофельную шелуху!..

„Мы выворачивали камни из канав и отвечали ими на залпы. Кровь лилась, груды стекла скрипели под ногами, простреленные автомобили валялись на улице. Наконец мы не выдержали и, унеся убитых и раненых, в беспорядке бежали...

„Сейчас в Дирборн и к нам в Детройт прибыл полк кавалерии. Вот, Роберт, что делается у нас! А как у вас? Привет Лиззи.

„Твой друг Говард“

„Говард, — писал ночью Роберт. — Действительно удивительные дела творятся у вас там под звездным флагом. Мне кажется, скоро реки взбунтуются и выбросят на берега съедобные молочные волны; батальоны заколосившейся пшеницы пойдут и задуют своих козочегаров.

„Ты спрашиваешь, есть ли что-либо подобное здесь? Конечно есть. Есть и холод, и ледяная вода, и солдаты на заводе. Я вспоминаю страшные морозы и снежные вьюги, когда мы строили мехалосборочный цех. С реки Оки дул ветер, морозил руки, щеки, носы, и все-таки цех был построен раньше времени, отведенного американским проектом.

„Была и ледяная вода. Год назад на строительстве водозабора, лежащего на дне Оки, вода прорвала заграждения. Инженер кинулся к течи и собственным телом зажал ее. Он держался так, пока не завалили дыру мешками с землей. А потом, по пояс в ледяной воде, замерзая, мы работали по суткам, не выходя из галлерей.

„Солдаты? Помню, это было в тревожные дни штурма. Боялись, что завод не будет временно построен. Так вот, было еще темно, когда я услышал за окнами глухие звуки военного оркестра. Я подбежал к окну. В сумерках рассвета подходили войска, едва заметно блестели трубы. Я быстро выбежал из дому. Войска направлялись к заводу. Сердце сжалось у меня тревожно, я бежал за ними, и вдруг вижу: солдаты снимают с себя шинели, берут лопаты, ломы, прыгают в канавы, поднимаются на насыпи и принимаются за работу. Я стоял окаменев от изумления. Мне еще не приходилось видеть так солдат на заводах. Под темного неба холодный дождь, а они работали, и музыка играла. К заводу шли рабочие, женщины, дети. Раздавались дружные приветствия по адресу военных...

„Дружники! Мы выпустим в течение этого года пятьдесят тысяч автомобилей, грузовых легковых, закрытых и открытых. Но возможно, что увеличим цифры: здесь цифры стареют скорее людей.

„Передай Нордланду, что конвейер установлен не хуже фордовского. Плавность движения и горизонтальность безукоризненны. На начал движущегося стометрового конвейера ставлю ребром мелкую монету, и она прошла все стометров, не упав и не скатившись с конвейера.

А термический цех гораздо лучше: фордовского. — Здесь термические цехи защищены отдушинами, отсосами, вентиляторами. Все пятнадцать корпусов оплетены трубопроводами, по которым идет пар, сжатый воздух, нефть, вода. Весь завод — это прекрасная энциклопедия последних достижений станкостроения. Я хвастаюсь себе не как американец, а как рабочий Нижегородского автозавода. Дружище Говард! Посмотри на марку этого письма. Разве в Америке рабочий дожидается, чтоб его лицо печатали на марках? Это место прочно занято Вашингтонами и Гуверами. Ваша жизнь совершенно иная, чем жизнь здесь\*.

Роберт подумал, зачеркнул „здесь“ и подписал: „у нас“.

Заклеив конверт и прилепив марку, он потворосил письмо на руке и сказал громко, забыв о спящей Лиззи:

— Это, чорт возьми, тоже ведь заем идей! Пусть-ка он погасит мои купоны!..

## 2. Сеанс

На столе дюссельдорфского инженера Витгофа стояли маленькие модели сельскохозяйственных машин, белела похожая на стакан трехдюймовой шприцовой высокая пивная кружка с готической надписью: „Боже, покарай Англию!“ — осколок военных лет. Инженер Витгоф, уволенный несколько месяцев назад с закрытого завода сельскохозяйственных машин „Рейнметалл“, смотрел через окно на широкую улицу.

Что случилось с Германией? Замолкли заводские гудки, один „Рейнметалл“ выбросил сорок тысяч рабочих, и здесь в Дюссельдоре — центре культуры западной Германии — не поднимаются больше театральные занавесы, мыши пишат и грызут клей со старого реквизита, в огромном планетарии остановились звезды, музеи не отапливаются, пылятся статуи, в клиниках виеят жестяные дощечки: „Приема больных нет“.

Постояв еще немного в раздумьи, инженер завернул в вошеную чертежную калку свою вынутую золотую челюсть и направился в ломбард. На височном мосту через Рейн он встретил старого приятеля, учителя средней школы. На верхней черной раме учительского велосипеда висел портфель.

— Как живешь, старина?

— Обычно, — ответил учитель, носком чинового ботинка тормозя ход велосипеда. — Я очень сейчас спешу...

— В школу?

— Нет. Школа у нас давно закрыта. Я теперь работаю посыльным, и мне еще осталось развезти восемнадцать пакетов.

„Это школьный учитель, — подумал инженер, глядя на сверкающие спицы велосипеда и движущиеся тонкие ноги приятеля, стяннутые у ступни полубоушечем. — Это сын того школьного учителя, который в семидесятых годах помог Бисмарку поставить Францию на колени...“

Инженер Витгоф, ощущая в кармане челюсть, пропустив корпус безногого инвалида в автоматической тележке на резиновых шинах, пересек довольно пустынную площадь и остановился у здания ломбарда с кругой крышей, выложенной красной черепицей.

— В конце концов, — повторял он про себя, — лучше, конечно, заложить, чем ложиться в могилу с золотыми зубами. В Америке и Японии, где так любят золотые зубы, впоследствии на кладбищах наши потомки будут открывать золотые Клондайки...

— Что вы закладываете? — спросил из-за сетки ломбардный чиновник.

Инженер, прикрывая ладонью голые десны, сказал:

— Я закладываю челюсть с золотыми зубами.

— Ах, челюсть... — мало удивился чиновник.

Получив ссуду и квитанцию, инженер направился от нечего делать по старой привычной дороге к закрытому заводу. Масса белых листочков о сдаче квартир и комнат бросалась в глаза. Вдруг путь инженеру загородили какие-то вещи, выброшенные на пафел. Спресованная, как гармошка, кровь, старинная качалка, портрет какого-то дедушки в высоком воротничке, шетка, ведро — они напоминали неожиданные баррикады, воздвигнутые параллельно улице. Мужчина без фуражки выносил подушки от дивана и успокаивал жену:

— Ничего, Марта. Мы уедем за город в Хаймсфельд, — там немало нашего брата живет в земляных небоскребах...

У ворот завода, закопченных фабричным дымом, сторож лопатой выбивал зеленую траву, стебли которой упрямо швели между графитных плит, отшлифованных почти дочерна башмаками рабочих.

— Воюешь, Ганс?

— Да, господин инженер, — узнав Витгофа, сказал сторож, выпрямляя спину. — Сколько ни воюю, она все растет и растет. Боюсь я, что скоро ласточки сошьют себе гнезда в заводских трубах...

Около завода было маленькое кино. Оно совсем недавно стало звуковым, а цветных картин, как в центре, в нем еще не показывали. Иногда здесь шли советские картины. Инженер Витгоф видел в этом кино „Турксиб“, и сейчас разноцветная, написанная от руки программа извещала, что после звуковой картины „Шутка императора“ пойдет картина советского производства — „Ростовский завод сельскохозяйственных машин“.

„Это по моей специальности“, — подумал инженер, протягивая руку за билетом.

В фойе, прокуренном до туманной синевы, инженер встретил заводских рабочих и мастеров.

— Добрый вечер, господин инженер!

— Добрый вечер!

— Добрый вечер, господин Витгоф!

Картина „Шутка императора“ рассказывала о любовном эпизоде, случившемся в Вене столет назад с русским императором Александром Вторым. Скакали на рослых конях фельдгеры, пышные кареты с фальшивой позологой внятно скрипели на высоких рессорах.

Картина окончилась, и во внезапно наступившей тишине луч прожектора осветил бледный экран, послышалось стрекотанье аппарата.

„Ростовский завод сельскохозяйственных машин“.

Голзя степь. Ковыль. Полумертвые бурьяны. молочай. Коршун. Пыль на дороге. Застывшие крылья мельницы.

И вдруг — люди, железная дорога, грузовые без номеров автомобили, журавлиные шеи подъемных кранов, жилища, цехи. В заводские ворота с гербом, на котором — серп и молот, непрерывным потоком течет сырье — лесоматериалы, чугуны, сталь. За воротами этот мощный поток, как дельта большой реки разбивается на несколько русел, струится отдельными рукавами по заготовительным цехам. Дисковые пилы деревообделочного цеха режут доски и бруски. Похожие на огромные, перевернутые горлом вниз бидоны, экскаваторы вытягивают тучи опилок, вихри стружек. В кузнечно-прессовальном цехе со стеклянными крышами-вентиляторами не брызжут огненные искры, не опалаются огнем с поднятым молотом кузнецы. Ковочные машины извлекли кузнеца из ада и превратили его в рабочего у печей беспламенного горения.

— Машины наши, немецкие. — слышит Витгоф шопот соседа.

Двигаясь дальше, сырье превращается в полуфабрикат, и из выходных ворот заготовительных цехов на электрокарах выезжают уже готовые детали будущих сельскохозяйственных машин.

Они льются в сборочно-механические цехи, и здесь на конвейерах срastaются друг с другом отдельные куски дерева и металла, обрастает тканью, стальными мускулами скелет машины.

А когда из ворот сборочных начали двигаться отряды готовых тракторных плугов, сеялок, сноповязалок, сенокосилок, борон и броненосцев полей — комбайнов, большая часть зала зааплодировала и закричала:

— Хейль Москау (Да здравствует Москва)!

Под свист и крики нескольких наци появились заключительные слова:

«За два года производство сельскохозяйственных машин в СССР увеличилось на 55%».

Ростовсельмаш, имея 15 000 рабочих, выпускает в год 32 000 посевных и уборочных машин и 100 000 крестьянских ходов в год.

В 1932 году он даст 3 560 комбайнов\*.

Наци кричали, топали ногами:

— Мы не хотим этой лжи о России! Пусть нам покажут Германию...

— Германию? — послышалось из маленького окошечка механика. — Сейчас вы увидите Германию...

Потух свет, и вдруг все люди на картине задвигались назад, батальоны тракторных плугов, сенокосилок, сноповязалок бросились обратно к воротам завода. Впереди всех бежали комбайны.

— Вот она, Германия! — смеясь кричали с мест. — Все идет назад... Смотрите, смотрите!..

Механик быстро раскручивал в обратную сторону картину, и скоро на месте завода опять была голая степь с неподвижным коршуном и бурьяном.

— Скоро и у нас будет так в Дюссельдорфе...

Тогда раздался крик:

— Механик — коммунист.

Раздался выстрел. Пуля, как стриж, провистела над головами...

При выходе инженер Витгоф задержал за локоть старого мастера Питера и сказал:

— Колоссаль! Скоро у русских, кажется, только на гербе останется серп...

Мастер, не разжимая губ, поднял вверх руку. Очки плотно сидели на горбике его носа.

— Придется хоть даром предлагать русским услуги, а то потеряешь всю свою квалификацию... — сказал инженер Витгоф.

Питер усмехнулся:

— Германии не нужны такие машины, Германии не нужна пшеница, а в Америке она заменяет каменный уголь... Ротфронт цум штурм берет (Красный фронт готов к бою), — ответил он, прощаясь, и вскинул над головой плотно сжатый кулак...

### 3. Встреча

Атлантический океан.

Пятиэтажным домом возвышается громадный железный корпус парохода, на черном корпусе выделяются белые надстройки пассажирский кают, высокие мачты тянутся к небу тончайшей паутиной радиотелеграфа. Семь стальных палуб делают пароход на семь этажей. Наверху, — на капитанском мостике, где особенно остро чувствуется холодное дыхание океана и свирепый свистит ветер в корабельных снастях, — там не сводят глаз с водяного полотна. Днем и ночью нужно быть наготове. Ведь ледяные горы, словно белые медведи, подняв незаметную снежную шапку, скрыв под водой стальной остов, плывут, не считаясь с курсами кораблей.

Два верхних этажа представляют самые большие, самые роскошные помещения для богатых пассажиров. Они похожи на дорогой отель, с ресторанами, зимними пальмовыми садами, ночными барами, с бассейнами для купанья, где каскадами льется голубая океанская вода. Стены всех помещений обтянуты ценными тканями, отделаны дорогими рисунками, дубом, гобеленами, раскрашенными коврами. Через многометровые окна двухсветных столовых с расписными плафонами бегут волны свет, а звуки оркестра заглушают пронзительный волчий вой сирены на баке.

Под первым классом — второй, третий, четвертый. Ниже — целый механический завод. Десятки полуголых кочегаров, осыпанных едким, грязным потом, кормят нефтью прожорливые топки паровых котлов. Механики и машинисты сидят около огромных, сверкающих сталью турбин в тысячи лошадиных сил. Кажется, что и турбины от неустанной работы обвиваются маслянистым тягучим потом. Турбины вращают уходящие далеко в киль валы с четырьмя гребными винтами, а те, не останавливаясь ни на минуту, двигают пароход из Гамбурга к устью Гудзона. Десятки других машин жгут огнем тысячи электрических ламп, приготавливают из соленой воды пресную, делают лед, выпекают на электроплитах хлеб.

Так посредине Атлантического океана стойко, твердо и величаво, разбивая грудью океанские волны, одолевая ветер, ночь, мглу, идет в свой последний рейс этот могучий «Левифан». Он не вернется больше в Европу, в Гамбург, к родным стенам, — гребные винты останабливает кризис, пароходу приготовлен прикол в Нью-Йоркском порту.

Нет для него пассажиров, пусты каюты, огромные зеркала отражают лишь неподвижные предметы. Скучающие негры в красных камзо-

...их, привыкшие говорить шепотом, бродят между пальм с вершинами у белых потолков. Сухие бассейны, и в гостиной особняка миллиардера, среди гобеленовых куртизанок, полузакрыв глаза, развалившись на бархатном кресле, под монотонное гуденье вентилятора дремлет лакей.

Лишь как всегда чутко работает машина, да над головой молодого радиста с металлическим плетущимся сухое трещат синеватые огоньки. Порой воздушные волны что-то приносят на своих невидимых гребнях. Быть может новый мотив джазбанда? Нет, радист слушает экономические новости:

«Объем судостроения в Англии пал до уровня 1877 года. На судостроительной верфи Кюнард Лайн остановлены работы по сооружению крупнейшего в мире пассажирского парохода в семьдесят пять тысяч тонн.

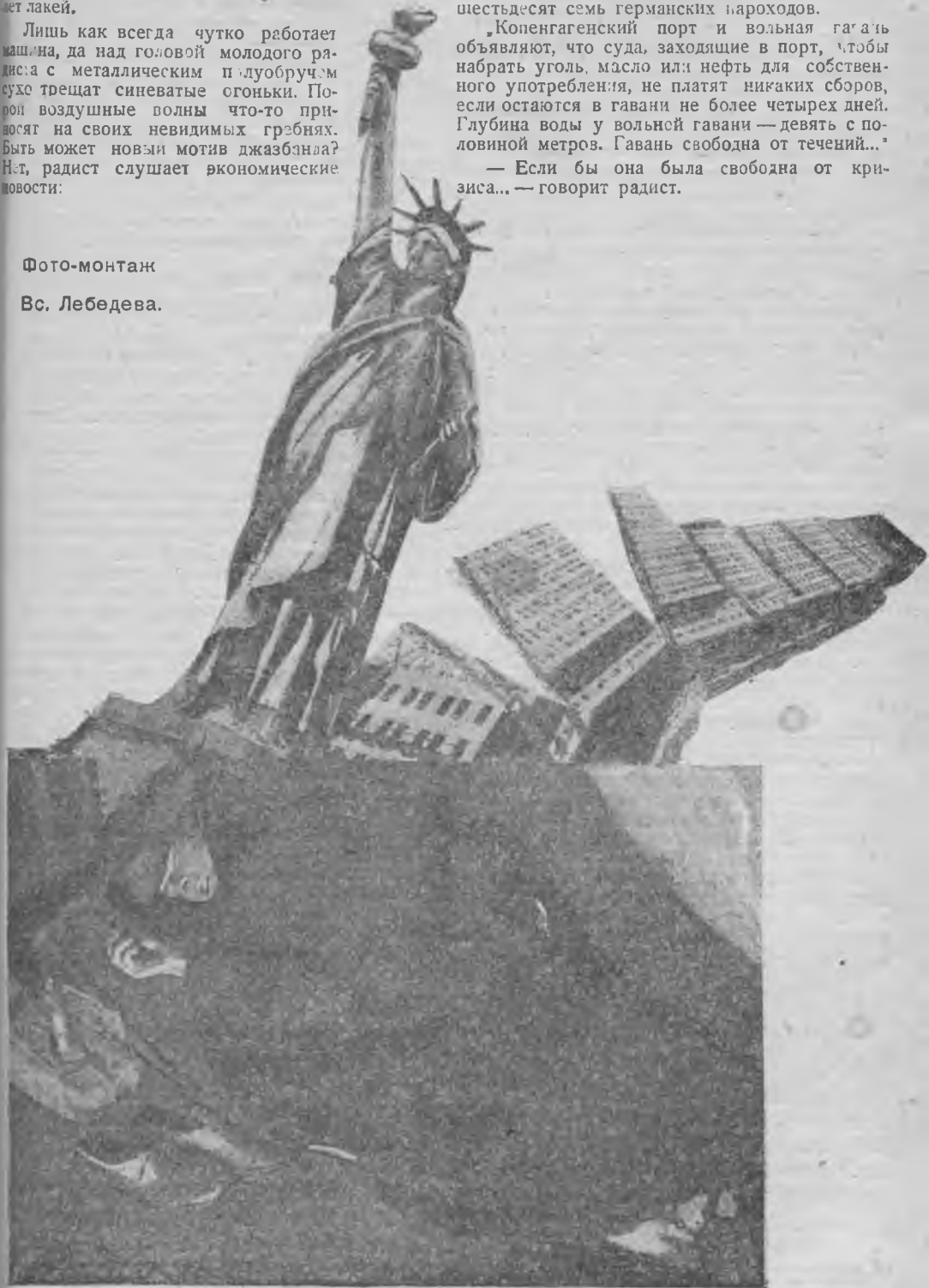
«В Бременском порту стоят в бездействии шестьдесят семь германских пароходов.

«Копенгагенский порт и вольная гавань объявляют, что суда, заходящие в порт, чтобы набрать уголь, масло или нефть для собственного употребления, не платят никаких сборов, если остаются в гавани не более четырех дней. Глубина воды у вольной гавани — девять с половиной метров. Гавань свободна от течений...»

— Если бы она была свободна от кризиса... — говорит радист.

ФОТО-МОНТАЖ

Вс. Лебедева.





И, точно в подтверждение его мыслей, реклама кончается словами:

„В Копенгагенском порту свободных приходов для судов нет“.

„В Англии создано общество для разрушения верфей. В отчете общества за 1931 год указано, что им куплено на слом семьдесят одна судовверф“.

„Из-за повышения фрахта на грузы суда не идут через Суэцкий канал, предпочитая держать курс вокруг Африки“.

Вдруг радист сделался особенно внимателен. Эфир сообщил:

„Говорит Москва. Говорит Москва.“

„Пятилетка наших верфей кораблестроения даст республике четыреста двадцать шесть единиц“.

„До конца пятилетки Северная верфь построит сорок семьдесят два траулера.“

„На заводе Марти закончены постройкой новые теплоходы „Рион“ и „Кубань“.“

„Первым рейсом вышел новый лесовоз в девять тысяч тонн, построенный Балтзаводом“.

Но какая-то станция перебила Москву.

— Первым рейсом, — прошептал радист, — а мы последним...“

Неизвестная станция оказалась станцией сорокового лесовоза. Он сообщил свое местонахождение и справился о туманах.

— Мы с ним скоро встретимся, — прогварил смеявшийся радист и спустился по лестнице к механику — старому моряку.

Фиолетовая татуировка на мускулистых руках механика напоминала причудливые узоры синева-тых вен. По-ставив ветру разогяченную голову со следами полубруча на волосах, радист передавал механику последние новости.

— Разрушители верфей? — хрипит старый механик. — Вот мерзавцы!

— А чем мы лучше? Гарольд? Полные сил, вооруженные техникой, идем на прикол в последний рейс...“

Он закуривает кепстен с запахом вишни и продолжает:

— Соревновались с Англией. Их Кюнардс, Уайт-стар-лайнсы строят трансатлантические гиганты, а Вильгельм — еще больше. Так Блок и Фосети спустили со своих стапелей „Фатерланд“ и принесли „Левифан“ нашей компании Шипинбару более миллиона убытков. Не стало пшеницы из Аргентины, мороженого мяса из Австралии, нет и пассажиров. И дорога нам одна, как „Великому восточному“. Ты не знаешь судьбы „Великого восточного“? Почти

сто лет назад было построено чудо корабельного искусства — „Великий восточный“, водоизмещением в двадцать семь тысяч четыреста тонн. Но еще большим чудом оказалось набрать на это чудо пассажиров. Несколько раз он сходил из Европы в Америку, как и мы потом превратили его в угольный склад, а в конце концов сломали... Да...“

Моряк вздохнул.

— На конце длинного мола Суэцкого канала стоит статуя строителя Фердинанда Лессепса, с протянутой на восток рукой. Видимо придется ему теперь повернуть, как нищему, медную ладонь к небу. А ведь прежде был лопатом по Суэцкому каналу и не прои и бывало, корабли толкались боками, как на Бродвее...“

— Вновь выросла дорога из десяти тысяч километров, — сказал радист. — А здесь еще борются за голубую ленту океана...<sup>1</sup> У кого она теперь?

— Два года назад „Брэмен“ передал ее „Европе“...“

— А „Европа“, пожалуй, передаст ее Азии...“

— К какой Азии?

— Ну, России... Единственная страна, которая еще строит торговые корабли. Мы сейчас должны встретиться с лесовозом в девять тысяч тонн. Он идет первым рейсом... Первым... Это молодость, Гарольд!..“

И вот на горизонте показался силуэт лесовоза под красным флагом. Он недавно сошел со стапелей Балтзавода. Почти все сто тысяч его деталей были сделаны руками ударников Советской республики. Погрузочно-разгрузочные работы на нем электрифицированы. Радиопередатчики точно определяют его радиоволнами местонахождение корабля. Чуткие гидрофоны, передавая в слуховые трубки шум от работы винтов, предупреждают возможность столкновения, за много километров они улавливают звучанье подводных колоолов у мяквя, облегчая судну ориентировку в морских просторах.

Лесовоз рассекал волны, неся в глубокотрюмные части машин, полученных в обмен на зеленое золото.

Даже капитан „Левифана“, увидев в бинокуляр на лесовозе цифру „1932“, сдвинул на лоб фуражку с якорем и золотым галуном и сказал:

— Да...“

<sup>1</sup> Голубая лента океана принадлежит быстрейшему судну.

Издательство ЦК ВКП(б) „Правда“. Сектор „Комсомольская правда“.

Отв. редактор **А. Поневежский**.

Зав. редакцией **И. Бражнин**. Руковод. оформлен. и технич. частью журнала **В. Свешников**.

Ленгортит № 52621. Ст.-ф. 72×110. Тираж 50.000. Печ. л. — 6. Заказ № 7694

Сдан в производство 13 VIII. Подписан к печати 25/VIII. Количество знаков в листе 97696.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1932 год  
НА ЖУРНАЛ

# „ЮНЫЙ КОММУНИСТ“

Выходит ДВА раза в мес.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — руководящий политико-теоретический журнал ЦК ВЛКСМ. Расчитан на руководящий актив союза.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — последовательно проводит генеральную линию партии, непримиримо борясь со всякими уклонами от ленинской линии и примеренчеством к ним в теории и практике, беспощадно разоблачая троцкистскую контрабанду и всякую фальсификацию и гнилой либерализм к ней.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — теоретически обосновывает и разрабатывает злободневные проблемы комсомольского движения, связанные с вступлением СССР в период социализма и последний этап напа.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — разрабатывает вопросы сознательного руководства, выдвижения и воспитания актива, марксистско-ленинского воспитания и т. д.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — освещает узловые вопросы борьбы за металл, уголь, химию, социалистическую реконструкцию транспорта, электрификацию и т. д.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — дает развернутый руководящий материал по реализации решений XVII партконференции.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — освещает вопросы теории советского хозяйства, планирования, организации труда, практики хозяйчета, социалистической рационализации и дает теоретическое освещение опыта социалистического переустройства деревни, практику колхозного и совхозного строительства.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — разрабатывает основные пути и проблемы техники и технической политики.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — знакомит читателя с ленинским этапом в философии, экономике, литературе и т. д.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — освещает международное рабочее движение, задачи Коминтерна и КИМ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 мес.—50 к., на 3 мес.—1 р. 50 к., на 6 мес.—3 р., на 12 мес.—6 р.

Цена отдельного номера—25 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почтовых отделениях, у писмоношцев, ячейковых работников по печати.

ИЗД-СТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“

СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“

Каждый комсомолец,  
каждый молодой рабочий  
ДОЛЖЕН ЧИТАТЬ СВОЙ ЖУРНАЛ

## СМЕНА

ОРГАН ЦК и МК ВЛКСМ

— Выходит два раза в месяц —

ный вопросам социалистической реконструкции быта.

**СМЕНА** — освещает и ставит актуальные проблемы культуры и быта, связанные с ходом социалистической стройки. Из номера в номер дает в журнале постоянную бытовую консультацию. Ведет борьбу с классово-враждебными нам течениями и течениями и вылазками на идеологическом, культурном и бытовом фронте.

**СМЕНА** — печатает лучшие рассказы, стихи и очерки пролетарских писателей и ударников, призванных в литературу. Откликается на злободневные вопросы литературной политики. Борется за проведение правильной партийной линии в художественной литературе.

**СМЕНА** — отображает классовую борьбу за быт рабочей молодежи в капиталистических странах и колониях.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 м.—50 к., на 3 м.—1 р. 50 к., на 6 м.—3 р., на 12 м.—6 р.

Цена отдельного номера — 25 коп.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях, у писмоношцев и в ячейках ВЛКСМ у уполномоченных по печати.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“**

**СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“**

# **БОРЬБА МИРОВ**

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ**

Два мира. Две силы. Отмирающий капитализм и социалистическая система. Капиталистические страны охвачены жесточайшим кризисом. Закрываются фабрики и заводы, лопаются банки, идут с молотка разорившиеся крестьянские хозяйства. Рабочие среди изобилия, созданного их руками, умирают с голода. Социалистическая система не знает кризиса. Каждый день вступают в строй все новые и новые заводы, растут новые города. Главная и основная задача журнала „**БОРЬБА МИРОВ**“ — показать во весь рост эти две системы, показать революционную борьбу рабочих в капиталистических странах и участие в этой борьбе зарубежного комсомола.

Латвийские палачи убили комсомольца Гедриса. Умирая, Гедрис сказал: „Убьют нас, но разве можно убить комсомол! За нами идут другие. С каждым днем нас все больше и больше. Наши силы растут“.

Зарубежный комсомол, несмотря на жесточайший террор, ведет героическую революционную борьбу. Наша задача — показать зарубежный комсомол, его рост, его работу, его борьбу, его победы.

Журнал „**БОРЬБА МИРОВ**“ должен показать две техники, рассказать о нашем враге, о вооружении буржуазии, о борьбе на научном фронте.

**ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЛ „БОРЬБА МИРОВ“**

На 12 мес. — 5 руб. 40 коп.

На 6 мес. — 2 руб. 70 коп.



На 3 мес. — 1 руб. 35 коп.

Цена отдельн. номера — 50 к.

**ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:** всеми организаторами подписки на заводах и фабриках, во всех почтовых отделениях, письмоносецами, ячейковыми работниками по комсомольской печати и уполномоченными „Комсомольской правды“.

Борьба  
Муров





ПРОЛЕТАРИИ ВСЕГО МИРА, ВСТАВАЙТЕ НА ЗАЩИТУ  
ПЕРВОЙ В МИРЕ СТРАНЫ СОВЕТОВ!